

РФ 84Р6
С 32

ЕРАФИМОВИЧ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

II

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



А. СЕРАФИМОВИЧ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
А. И. ЗОНИНА

ТОМ IX



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

РФ 84Р6-4
С 32

А. СЕРАФИМОВИЧ

ХОЛОДНАЯ РАВНИНА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

144614

С

П

ЧИТ. ЗАЛ

Г. Комсомольск н/А
ЦГБ им. Г. Островского
КНИГОХРАНЕНИЕ

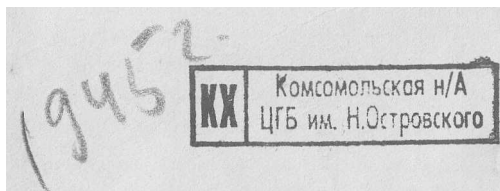


МОСКВА * 1928 * ЛЕНИНГРАД

Комсомольск н/А
МУК ГЦБ
Хабаровский край

Р

О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й Образцовой типографии
Гиза, Москва, Пятницкая 71;
Главл.А-20856 Х.20. Гиз. 25776;
Заказ № 776. Тир. 10.000 экз.



СО ЗВЕРЯМИ

Утром солнце всегда било в мое окно, и я, — как ни прятал голову под подушку, как ни закручивал, задыхаясь от духоты, на голову простыню, — поднимался, раздирая слипающиеся глаза, и, ища спасения от невыносимого блеска, перебегал в другой угол.

А сегодня сам проснулся, еще не было солнца. В растворенное окно матово смотрело утро, лилась прохлада, разговаривали куры, кричал ишак, и над лесистыми горами порозовели снеговые хребты — до того отчетливые, что ясно различались глубокие синие складки.

Когда вышел с ружьем и оглянулся, за белой полосой шоссе утреннее море, такое спокойное, что глаз не улавливал, неоглядно уходило и лишь на самом краю, теряясь, чуть задымленное порозовело, как и снега на вершинах.

Так было свежо, прозрачно, умыто, что я, подняв руки, глубоко вдыхал в виду розовых снегов, в виду бесконечно уходящего моря, в котором такое же беско-

нечное небо, тоже заалевшее с краю, в виду узенькой белевшей поворотами полоски шоссе, так же бесконечно уходившего, как и горы, как и море.

За каменной стеной, бело обнявшей тесный двор с каменным, тоже белым, лицом к морю, флигелем, потянулись вверх табачные плантации. От белых раскрывающихся цветов табака шел одуряющий запах. Золотисто жужжали пчелы, таская ядовитый табачный мед.

Белели пятнами девки, возившиеся с табаком, как с капризным, своенравным ребенком.

Хозяин мой, елецкий мещанин, рыжеватый, с бровями кверху хвостиками, стоял между ними с кнутом и — не то в шутку, не то с озлоблением крича: «Атть ты!!!» —вытягивал зазевавшуюся.

Если это была и шутка, так такая, от которой ложился синий рубец, и хохлушка, занесенная сюда из Полтавщины, хваталась за обожженное место:

— Чего бьесея!..

Пот градам бежал по ее лицу, а мотыка мелькала — глазом не уследишь.

Впрочем, хохлушкам жилось у рыжого, как у Христа за пазухой: он отвел для жилья сарай, даже позволил взять для подстилки сухой травы, и до сих пор еще ни одна не упала от истощения и голода.

Я уже карабкаюсь в лесу. Тропинка, засоренная старыми листьями, оползает обомшелые укоренившиеся по обрывам дубы, либо юркнет в непролазную кустарниковую чащу, и, когда я оттуда после большой драки

с усилиями вылезаю и оглядываюсь, на сучьях сереют клочки от моего пиджака.

Отовсюду наперерыв несетя бестолковый птичий гам, такой наглый, всезаполняющий, что, кажется, на свете только и есть этот гам.

В просветах живой листвы, от которой всюду лениво шевелящиеся зеленые тени, нет-нет да и кинется в глаза резкая, так отличная ото всего кругом далекая синева, подержится и пропадет, и опять дубы, карагачи да буки, и опять я лезу начетвереньках, продвигая ружье в проклятых кустах, а сзади на иглах и колючках клочки моей одежды, и свежие царапины сияют, сочась.

Зелено сверкнула, раздвинув лес, вся в траве и цветах, полянка, срываясь с одного края бесконечным обрывом. И, поражая глаз неестественно густой синевой, как на картине Рериха, во все небо стало стеной море.

Почему море стоит стеной? И почему неестественно синий цвет его похож на краски художника, а не наоборот?

Я растягиваюсь на краю, приминаю траву и цветы. Мелко зеленеют до самого низу леса. Не видно ни нашего двора, ни белой ленты шоссе, а только в густой синеве стоит море стеною.

Над соседним лесистым отрогом сияющее солнце лукаво улыбается, — это то самое, которое каждое утро забирается в мое окно и будит меня. Как я его сегодня опередил!

А море стоит синей стеною в полнеба.

Я лежу и, щурясь, гляжу, — лень! Не видно снеговых вершин, — лес закрывает.

Лишь в кустах мечется, как угорелая, певчая мелкота. Точно сговорились, все провалилось, и около меня пустой круг.

Все равно, буду лежать дремотно на этом уступе и слушать, как гудят золотые пчелы. Здесь они собирают чудесный янтарный мед.

А море синей стеною...

Я всматриваюсь, не отрываясь, и вижу крохотное белое пятнышко на синеве. И как только увидел, сейчас же увидел, что море не стеной стоит, а бесконечно уходит от меня — синее, и на самом краю его чуть белеет парус. И уж не оторвешься.

Проходит час, два. Солнце колюче забирается под веки. Дальние горы начинают чуть трепетать знойным трепетанием, и море становится не синее, а голубое, бездонное. Небо тоже становится неуловимое, без облачка.

Проплывает дремота, путая море, горы, обрывы. Всплывает прошлое кусками; встает давно забытое радостное ощущение, так знакомое в юности — ощущение своего тела, напряженности мускулов, радостной внутренней близости этих гор, зелени, камней, трепещущей знойной дали.

Качается дремота, и я забываю голубое море, хребты, мелкую зелень лесов внизу, а назойливо стоят перед глазами рысьи брови хозяина, и хвостики у них кверху, как у оперного Мефистофеля.

Кто-то знакомо хохочет.

Торопливо оборачиваюсь: стоит хозяин, прыгают рыжеватые брови хвостиками, в руках старенькая про-

ржавленная двустволочка, и совсем он иной, чем дома, — не люблю я его дома.

— Вы как тут очутились? — говорю я, сумрачно глядя в сторону.

Но, извиняя его, синеют задымленные горы, поражает своей далекой глубиной море, как трава, зеленеют неуловимо внизу леса.

Он, понимая, спускает с плеч набитую походную суму, осторожно кладет ружьишко, усаживается на траву, поджав под себя по-турецки ноги.

— Первое дело, как вы ходите? Требуется, ходи весело, уши на макушке, хвост кольцом... Опять же: провянт... и рюмочка... Недаром Кана Галилейская, и вино, и закуска, и водочка...

— Водки тогда не было.

— Ну, как не было... А хочь и не было... Это не чудо: пошел в казенку да взял за двугривенный, не из-за чего и рук марать. А вот что не была, да сделалась — это понимай. Опять идете в горы! Ништо так идут без ничего? Тут зайцы жареные в рот сами не полезут. Хлоп дождь, гроза, али забился в трущобу, не вылезешь, что такое! Не обозначишь, где такое, да и на! Вот тут сумку-то и сымай с себя. Погляжу я на вас, ходите в горы, ходите, в каком смысле — неизвестно. Он, зверь-то, смеется над вами, ей-богу!.. Что ж, вы думаете, зверь — так без понятия? Он нам с вами десять очков вперед даст. Видьмедя, да его в жисть не увидишь. Тут возле него десять раз пройдешь, а не увидишь. Он на тебя смотрит, а ты дурак дураком, как слепой щенок, тыкаешься. Хочешь увидеть видьмедя? Хочешь? Ну, до—

ждись дождичка. Не то чтоб ливень али с грозой, не-ет, а тихой теплый дождик, вот что зарядит на два — три дня, сеется да сеется — ме-елкий, как сквозь сито. Мо-окро, и горы мокрые, и лес мокрый, и облака мокрые по деревьям цепляются. Вот тут ступай. И зараз шась! Вот он и видмедь, прямо на тебя. Ну, ничего, не полыхайся, он тебя больше испужался; иной, прямо сказать, себя обгадит с перепугу-то. А почему? — Рысьи брови нагнулись к самому моему лицу и зашептали: — Лист-то мокрый не шуршит, тебя и не слышать, а он в сырость носом плохо чует, вот и напорется прямо на тебя. В дождик надо. — И стал доставать из сумки снедь. — А то, что без толку ходить? Кругом тебя и козы, и олени, и зайцы, а ничего нету, — умеи подойти.

Море в истоме разлеглось молочное, побледнело, и не было конца, и не было краю.

Раскаленно пылали желтые скалы, остро выпираясь внизу среди зеленеющих лесов, и верхушки деревьев, зубцы обрыва, трава и камни знойно струились. Боже мой, да ведь это счастье! Мы закусили, а рысьи брови рассолодели от водки.

— Угощайтесь.

— Ты думаешь — человек хитрый, а зверь хитрей! Нет хитрее зверя, как человек. К видмедю крадешься — надо повадку знать, с человеком живешь — надо десять знать. Давеча я хлестнул девку, морду ты заворотил: дескать, живодер. А того не знаешь, не ведаешь — для хитрости, для глаза. Ты не женатый? Знаю, не женатый: в пачпорте — холост. А-а, то-то! Не суйся, коли своей шеей не мылился. Что я тебе скажу... Как же-

нился-то, — зашептал он, странно подняв рысьи брови, — два раза топиться ходил. Глянет, бывалыча, так у меня в мозгах круги пойдут, и зараз оглохну!.. Ни-и-чегосеньки не слышу Лупаю на нее бельмами, и ни в одном ухе. Вот до чего! Из себя маленькая — знаешь мою хозяйку, одноносенькая, — а до чего, ей-богу! Приказала бы человека убить, убил бы, вот те крест, убил бы. И что такое: двинуть раз, мокро только останется, а сам ходишь за ней, как баран на привязи. И чего скажет, голову повернет аж глазом поведет, — конченный я человек... И-и, миляга!.. ну-ка, единую...

Чорт с ним, пусть себе мелет. Я лежу, остро подняв колени, подкинув руки под голову. Не видно ни моря, ни хребтов, глаз бездонно тонет в золотисто играющем небе. Мириады неувовимо вспыхивающих искр. Так и смотришь, не отрываясь, без дела, без времени, без скуки. Рысьи брови храпят, а на мне лежит голубая тень от темной буковой листвы. «Сколько этому буку лет?»

Да так и остался с этой мыслью, которая потянулась нескончаемо смутно, то раздваиваясь, то свиваясь в одну тоненькую бесконечную нить. И ее оборвал тот же смех.

— А-ахотник!.. а-ахота веселая... царство небесное проспишь...

Я открываю глаза: тень тянется в другую сторону— солнце не над горами, а над морем, и море ослепительно — смотреть больно.

Хозяин вскочил по-собачьи начетвереньки и вытянул шею к дальнему обрыву, подняв хвостатые брови. Долго стоял и вдруг стал рваться, как бешеный.

— Ну, скоряе! Слышьтя, скоряе!..

Его тревога передалась мне. Я схватил ружье и побежал. Он, как хорек, мелькал в чаще, быстро карабкался, постоянно роняя из-под сбившихся каблуков прыгающие на меня камни. Обливаясь потом, крепко держа в одной руке ружье, другой хватаясь за выпиравшие из земли корни, за ползучую траву, цапаясь за землю, падая на осыпающиеся камни грудью, я едва поспевал за ним, не спрашивая, куда и зачем, и совершенно забыв, что у него с кисточками рысьи брови. Куда-то и почему-то нужно было, и поминутно подхлестывало:

— Скоряе!.. Скоряе!..

Перевалили лесной отрог, спустились, падая и скачиваясь на спине, опять вскарабкались.

Тут он присел и, обернув ко мне ненавидящее лицо, прошипел:

— Туссс... шшш... цыц!.. Гонют...

И, подняв кисточки, прислушался:

— Слышь?.. Гонют...

Я ничего не слышал и отдавался в его власть.

Он пополз. Я пополз за ним.

Мы подползли до края. Обрывалось узкое каменистое ущелье. Потрескавшиеся стены отвесны; внизу мглисто, прохладно, и шумит, белея, скачущий ручей.

Суживаясь, щель упирается в тупик, и по отвесной стене белой летящей полосой кипит низвергающаяся вода.

Мы лежим на краю, свесив головы, затаив дыхание. Сквозь немолчный, то усиливающийся, то спадающий водяной шум ухо поразил легкий живой скок. Под рысьими бровями вылезли рачьи глаза.

В ущелье из-за каменного поворота вынесся великолепный козел. Закинув рога, вытянувшись в нитку, чудовищными скачками перелетал через кипящую воду, едва касаясь шумно омываемых камней, блестевших темным блеском.

За ним вылетели весело, грациозно, с изумительной упругостью, как развернувшиеся пружины, пять коз.

Какая-то веселая необычайная по своей напряженности игра велась в горах среди лесов и ущелий неведомо для кого, своя игра. И, подтверждая это, из-за того же каменного поворота, тяжело поспевая, вывалилась серая стая волков с нагнутыми неповорачивающимися толстыми шеями, неся откинутые, толстые, как и шеи, полена; они попевали неуклюже, угрюмо и уверенно.

— Бей!.. бе-ей!.. бей!... бе-е-й-ии!..—завизжал нестерпимо пронзительным поросячьим голосом хозяин,— в ушах зазвенело.

Подавляя боль и сожаление, я стал стрелять по козам, которые безумно метались на отвесную, обдаваемую водой стену.

Хозяин с искаженным, оскаленным лицом, — кисточки на бровях поднялись, как шерсть у кота, — завизжал, брызжа слюной, еще пронзительней:

— Волков!.. Волков!! Дурррак!.. Сукин сын... супоста-ат!! Волков... волко-о-о-в, те говорят!!.

Я выстрелил по волкам, но было поздно: в ущелье скатался огромный серый клубок, а через секунду, когда развернулся, от коз разбросанно валялись кровавые клочки шерсти да рога. Волки под выстрелами пошли наутек. Стояли отвесно нацелившиеся каменистые

стены; пустынно, мглисто шумел в непрерывном белом мелькании ручей.

— Экк... сожрали!

Постоял, поправил суму за плечами, махнул рукой и, не оглядываясь, пошел, презирая меня. Я виновато — за ним.

Мы долго карабкались, потом, цепляясь за деревья, спускались, опять карабкались. Уже пот каплями капал со лба, стучало в висках, а мы все карабкались, неведомо куда. Все так же недостижимо белели снега. На обнаженной каменистой лысине, наконец, остановились. Тот локтем отер пот с лица.

Неоглядно и бесконечно внизу засинело море. И от неохватимой дали оно было такое нежное, недотрагиваемое, тающее. Солнце стояло над самым краем, незлобивое, обезвреженное, затуманенное, и море в той стороне раскраснелось, как утром, но по-иному.

Рысьи брови стояли передо мною растерянно, руки обминали шапку, и лицо глупое, испуганное.

— Сделайте милость, не серчайте... Прощения прошу, сделайте милость... Не держите зла... Со-грубил, сердце сошлось! Не попомните зла на мне, дураке... сделайте милость!..

Он кланялся, опуская голову почти до колен, кланялся, не прерывая.

— Сделайте милость... Прикажите, на коленки стану... По необразованию моему, мужичьему... одно слово... хряп...

— Ну, да ладно.

— Прикажете, на коленки стану... сделайте милость.

— Ну, да хорошо... ладно... Как вы узнали... откуда вы узнали, что они гонят?

Он стоял все с виновато непокрытой головою.

— Как же! Завсегда волки в такие места вгоняют. Так козла волк не настигнет, где ему!—вот он хитростью его. Где ущелье жерлом выходит, обсядут по сторонам, а другая компания гонит. Козы кинутся влево, чтобы в лес, оттуда зараз волки; они вправо—и оттуда выскочут, и сзади гонют, — ну, тут козе каюк. И ведь сволочь серая: беспрерывно в такую щель, что козлу выскочить некуда. Человек хитрый!.. Да он те, зверь, десять очков даст вперед.

— Да откуда же вы узнали, что именно сейчас тут гон?

— Да так. Услыхал — козленок заверещал, махонький, отстал, они и сцапали; заверещал, — ага! Стало быть, гонют. Места-то я знаю. Тут дураком не будь, с прибылью бы были. Козел да пять коз, мяса на целый месяц, опять и шкуры, мех худо-бедно по зелененькой. Я же те кричал: бей волков!.. — он сердито нахлобучил шапку. — Стои-ит, губы распустил... Истукан!.. Лупит по козам... Козе деться все одно некуда, коза — наша, а волков надо было отогнать... Который понимающий человек, ему замечание одно, а который с приглупостью, мамка уронила, тому хочь кол застругай на башке.

Он опять с ненавистью отвернулся и стал смотреть на море, а я молчал.

Он постоял немного, оттух и опять засуелся:

— Садитесь, садитесь, сделайте милость... вот суды, на камушек... Камушек гладенький, не хуже табуретки... Подзакусим, чем бог послал!.. А вы говорите, водки не надо. Как же без запаса... Вот теперешним бытом сдохли бы с голоду... Козы сами просились в рот, кабы дурака не сваяли... Дураками-то хоть пруд пруд... Гм... ну, да... я не то... Гляньте... гляньте!.. солнышко-то, уголек красный, прямо в море опускается... кра-асенький краюшек, зараз потонет, зашипит... Ей-богу!.. Что вы думаете? Горцы, которые они, может, тыщи годов тут живут, знают, сказывают, как потонет краюшек, так зашипит... от воды...

Он наставил ухо, насторожив кисточки бровей и скосив глаза. Красный уголек померк.

— Слыхали?! шшш... зашипело. Дивно!.. У нас в России этого ничего не услышишь, не увидишь... Уточки кусочек, сделайте милость. Много ноньче исходили с вами... Жареная... Огурчика...

На краю неба узко и длинно краснела полоса. Таким же узким отблеском краснело море.

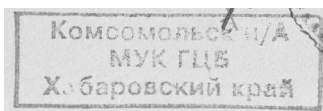
Не было теней. Лесистые хребты внизу мглисто задремывали. Сверху веяло снеговой прохладой. В прозрачном воздухе все выступало еще в красках, и вечерняя тишина благословляла горы.

Мы усердно закусывали, расположившись на вековом камне, когда-то низринutom с вершин.

— Они, сукины псы, тут, в горах все насквозь знают, каждую щель, каждого зверя. Под землей на три аршина видят. Ехидные супостаты. Прошлой зимой денек вы-

146071

дался свеженький. Выглянул, трюшечки запырошило снежком. Дай, думаю, покуда не потаял, — к обеду по-
тает,—дай, думаю, пройдуь по шаше, зайчишек по-
стреляю: их тьмы там на шаше по обочинам, в кустах, по
канавам. Иду это, ружьишко, вот эту самую
двустволочку, на руку положил стволами вперед, —
дескать, выскочит, так приложиться сразу. Да, иду это,
поглядываю, никакой это у меня философии нету, так
просто поглядаю... Пирожка, пожалуйста, колбаски—до-
машняя; жалко не пьете, растворяет пищу, препятствует
завалам... Да, поглядываю, абхаз навстречу. В бурке,
папах, кинжал у пояса, идет легко этак веселыми но-
гами... Легко ходят, надо сказать... Нда, я себе без вни-
мания. Идет, глаза опустил, на носки себе смотрит. Не-
винный младенец. Поравнялись, он — цоп! За стволы
ка-ак рванет... Думал вырвать сразу. Нет, стой!.. Удер-
жался я, оправился да ка-ак к себе рвану, он аж нава-
лился на меня. Ну, уперся да к себе меня опять, а я
к себе, а он к себе, так и зачали качать друг друга.
И каждый знает: ежели энтот вырвет, так энтому весь
заряд. Дергаем, никак не одолеем — ни он, ни я. А у него
глаза, как у ястреба, и усы рыжие подстрижены. И все
норовит рукой за кинжал, за кинжал, да я не даю, —
только за кинжал, а я как дерну, он опять ухватится
за ружье. Вз'ярился я, в глазах позеленело. А уж еже-
ли я вз'ярюсь, быка сверну, ничего не разбираю. Со-
брал силы — ка-ак дерну!.. А энтот прохвост видит — не
сдюжает, пустил. Я так и задрал ноги, зад ему показал,
а он, сколько видно, по пашне пустился, и-их засереб-
рил! Ну, я вскочил, приложился: ах-ах — из обоих ство-



лов в спину ему. Да разве возьмешь дробью бурку! Залился, сколько видно было. Не-ет, тут палец в ро...

Он пресекался на полуслове, глаза округлились, и пальцы и кусок колбасы так и остались около раскрыто чернеющего рта. Я застыл в полусогнутом положении, глядя. И хотя не слышал — чувствовал, стоит непроизносимый шопот:

— Не ворочайся... не ворочайся...

Хозяин не шевелился ни одним мускулом.

Из-за края, на который, перегибаясь, выбиралась каменная тропинка, показалась темная длинная с короткими ушами медвежья голова, потом мохнатые плечи и вся длинная, неуклюжая, снизу в бурых лохмах туша. Медведица шла, не глядя на нас, мерно покачивая головой, точно соглашалась с какими-то своими особенными мыслями, и от тяжелой поступи выступали и прятались по очереди в плечах лопатки.

За ней высунулась такая же темная, но гораздо больше, голова медведя, поднялось постепенно огромное черное туловище, и от тяжелой поступи так же выступали и прятались, шевеля шерстью, лопатки. Он грузно шел за медведицей, повторяя все ее движения, так же мерно покачивая головой, слегка справа налево, не глядя на нас отлично видящими с искорками ненависти глазами.

Я все так же неподвижен в полусогнутом неловком положении, и все так же пальцы и колбаса перед чернеюще открытым ртом хозяина, и на старом мшистом камне закуска, откупоренная полбутылка, недопитая

с выщербленным краешком одноногая рюмка, два заряженных ружья на земле и револьверы в карманах.

А из-за каменистого края третья, но поменьше, темная голова и грузное с играющими лопатками тело.

Медведица была от нас уже шагах в двадцати, а из-за края один за другим выбирались медведи все меньше ростом, выбирались и шли гуськом, и шестой, самый последний и маленький, был комичен: полуоблезлая, побуревшая, клочковатая шерсть, кривые лапы, худые запалые бока, но он так же ступал человеческими стопами, так же, как медведица и большие медведи, мерно, в такт поступи, кивая головой на подвешенной на шарнирах шее слегка справа налево, и в этом сказывались особенные, свои собственные мысли; так же шел, не глядя на нас отлично видящими глазами, и в них—искорки той же ненависти.

Пусть он был самый захудалый, слабый и паршивенький; пусть после брачных торжеств насытившихся любовью сильных на его долю достанутся только крохи ласк, пусть, — он все же будет неотступно следовать за своими соперниками, из которых каждый занимает место по рангу своей силы.

Была торжественность в этом свадебном шествии среди вековых сосен, у которых никогда не звенел топор, среди разросшихся ущелий, обрывов и скал, где никаких дорог, а только изредка намеки на звериную тропу, по лесистым хребтам, пустынно и дико протянувшимся от синееющего моря в глубь земли, — была торжественность, значительность и сила, каких не бывает у людей.

В десяти шагах, поравнявшись, медведица, все так же мерно покачивая шеей, повернула к нам одну голову, бело оскалились зубы, глянули маленькие уколовшие глазки, в которых свое, звериное, понимающее, коротко зарычала, пренебрежительно отвернулась и так же мерно в такт поступи качала шеей, играли лопатки, тяжело ступали человечьи ступни, только с когтями, удаляясь.

На том же самом месте, тем же самым движением повернул черную голову большой косматый медведь, блеснув зубами, глянул глазками, в которых — ненависть, зарычал и пошел, покачивая шеей, грузно ступая за медведицей.

Один за другим повернули головы и рыкнули, блеснув на нас белыми зубами, по порядку и остальные медведи.

Даже последний, никудышный, дойдя до отмеченного медведицей места, повернул к нам облезлую голову, глянул маленькими загноившимися глазками, в которых то же отчуждение ненависти, рыкнул мальчишеским старающимся баском: на-те, мол, — и пошел, поматывая головой.

Каменистая площадка давно пуста, а мы сидим все в тех же положениях.

Хозяин быстро положил в рот колбасу, опрокинул недопитую рюмку и, торопливо прожевывая, засуетится:

— А?!. Видал!.. Ввидал?!. Баба повела за собой, как на веревочке... Так-то у меня: хожу за ней, как баран... сделай милость...

— Разорвать нас могли.

— Не до того им... Одно боялся, чтоб не заворочался али не стал стрелять... Все зависит от бабы: не тронула, ну, энти не тронут. Как она велит, так они без прекословия. А ежели б она огорчилась, только бы мигнула, —от нас бы клочков не осталось. Э-э, брат, все от бабы, в какое царство ни сунься. Самая малая насекомая — и той баба верховодит. Да возьми меня. Встретился я со своей хозяйкой... — Кушайте, сделайте милость; напрасно водочки не хотите, отлично кровь полирует... — Да, с хозяйкой... Видал — субтильная, носик ровненький, ну, а как встретился, то—глянул—кончено, на веревочке, вот как эта сама прошла. И скажи на милость, теперь вспомнишь, самое наичудесное время было. И не то что там чего-нибудь, а просто от сердца, по совести. Скажи она: убей человека, не передохнул бы — раз! — готово. Не я один, и другие так табунком за ней и ходят, как за этой. А лютой я был, — полтора месяца в больнице вылежал: бутылкой голову проломил одному, так волочили. И чего, самое главное, глянешь на нее, а она хоть бы что, глазом не поведет. Ахх, ты, резвая!.. И не то чтоб отвернулась — нет, рассказывает, когда и засмеется, а только глядит, и свое у ней, в глазах сурьезность; глядит, а сама как будто сквозь тебя — не то ты тут, не то нету тебя, как все одно... За ваше здорovie!.. Эх, матть честна, и водку ноньче казенное ведомство искусственно стало выделявать: сороковка на двадцать на три копейки, а удовольствия на полтора целковых, даже в пятках загораются.

Я сидел спокойно и радостно. Может быть, оно так и полагается в кем-то predetermined порядке в этой

пустыне гор, среди каменистых обрывов, среди пахнущих смолою сосен, которые рождаются и умирают своею смертью, не зная топора, — может быть, так и полагаются, чтоб ходили медвежьи свадьбы и чтоб от расположения духа молодой зависело — лежать тебе в кровавых клочках или всей грудью вдыхать смолистый аромат разогретой за день хвои, тонуть глазом в поглощающих все больше сумерках, и чтоб непротиворечиво всему елецкий мещанин рассказывал о своей жизни.

Уже нет темной зелени дальних лесистых хребтов, а неподвижной стеной загораживают невидимое небо. Смутны, как видения, дремотно пахнущие сосны, потонул обрыв, сузилась площадка, — я да хозяин. Он то-ропливо закусывает, наверстывая, выпивает и говорит, говорит без конца, точно его ототкнули.

А внизу за соснами бархатная ночь, и вверху ночь, ни одной звезды, — мягко застлано невидимыми безветренными молчаливыми тучами... А в этой черной ночи стоят горы. И стоит свой от века порядок, в котором всему — свое место: и нам с хозяином. — свое и его неумолкающему рассказу — свое.

— Да, одноносенькая. Рассказывают, — женишься, а она тебе делается все равно: каждый день видишь, каждый день жена тебе. Ну, это не так. Каждый день вижу, каждый день жена она мне, а я все распадаюсь. Ей-богу! Что ты?! Проснешься утром, глаза разинешь, перво — где она? Увидал — ну, отлегнет. И ведь до чего ненасытимо! И не то чтоб, а душой, просто сказать, сердцем хочешь половить округ нее да руки ей лизать. Скажи вопрос, — академия в тупик встанет.

Он чиркнул спичкой, и впервые вспыхнул огонек, крохотный, такой чуждый всему, что кругом. На секунду лишь проступили рыжевато заросшие изнутри ноздри, и опять все пропало, и опять лишь первозданная безграничная ночь, и в молчаливой тьме ее невидимо — горы, которые часть ее.

И человеческий голос:

— Э-э, браток ты мой! Разве в человеческую утробу вникнешь? Думаешь, красота? А что ж красивее не видал? Нету их, что ли? До чего есть которые с выражением. Картинка, и больше ничего. Не об том дело. Главное, глянешь на нее, а она, как дом запертый: окна заколочены, двери заколочены, а знаешь — живут там. Ходишь вокруг да около да прислушиваешься.

— Не любила?

— Кабы не любила, не пошла бы, — не из таковских.

Гордая. Глянет — королева голландская, и все. Это, брат, не штука — бабу облапить, дело ежедневное, а вот в глаза ей хочешь заглянуть, да никак не видать тебе, чего за глазами, об чем она об своем, — свое у ней там. Вот она, брат, в чем профессия. И до чего это измызгало. Скажет, ведро примет али самовар подаст, комнаты станет прибирать али, видать в окно, по двору идет, юбка белеется, а у меня все гвоздем вертит, — что такое? Вижу ее, говорю, а сам, как один. И не то что, — все приберет с охотой по хозяйству, по домашности. Я в Ельце бараниной торговал, — бывало, в чайнике чайку принесет на базар, напекет пышек, а я без внимания, ссет сердце, как глиста.

Он опять пыхнул огоньком, на секунду — ноздри, из которых выглянули волосья, и опять—темь, и опять безграничность, и опять невидимые, но чувствуемые громады.

Я почувствовал, — он в темноте встал на ноги, молча постоял и опять сел. И вдруг почувствовал — в этом человеке большое выросло, большое в странном соответствии с громадностью ночи.

— Кабы тебе рассказать, и рассказывать нечего, слов нету таких, а я хотел...—он, должно быть, наклонился, в черноте почуялось его пропитанное табаком дыхание, зашептал: — хотел удавиться... На чердак лазил, место приглядел, возле борова, балка под крышей, ловко захлестнуть; паутиной все заросло, а на паутине сажа. Так и решил: гокну ее рраз, чтоб сразу, не мучилась бы, а сам на чердак. И до чего дошло: ночью проснусь, возле меня спит, дышит, а я боюсь глянуть, на ее голову боюсь глянуть: так под локоть кто-то — сразу проломи, и не проснется, без муки, а перед глазами — боровок и паутина, а на паутине сажа, ну, вот стоит, как живое! Зажмуришься, а оно стоит; на икону зачну глядеть, а заместь иконы — паутина, а на ней сажа, и куда ни повернусь...

Почудилось, он опустил голову. Молчали.

Отчего беспричинно сердце болит? И не угадал ли елецкий мещанин, не тронул ли больно елецкий мещанин, торгующий бараниной? Отчего же? Ведь слышит же он, как зашипит, потухая в море, красный уголек солнышка.

Захохотала, забилась в истерике дама, да не одна. И хохотом ее, истерическим визгом, воплем наполни-

лась вся тьма, и мрачно и спокойно откликнулись во тьме горы. И откуда в ночных горах дамы, да еще истерические?

А мещанин сказал:

— Проклятые! Всю ночь не дадут покою.

И опять красноватый круг от папиросы бегло озарил бело метнувшуюся в глаза от неубранной закуски бумагу.

— Костер бы развести.

— Не стоит. Полчасика посидим, на оленей пойдем. Со полуночи засядем. Место знаю, — по тропке к водопою ходют. Ну, только сидеть — ни дыхания.

А истерический визг, хохот мечутся во тьме.

Чудится в этой истерике окончание где-то разыгранной пьесы, бездарной пьесы, как бывает иной раз бездарная жизнь.

Впрочем, пустяки: просто шакалки в темноте надрываются хохотом и визгом.

— Выстрелить разве?

— Ни-ни-ни! И думать не моги! Хоть и далече, а ни один олень не пройдет на водопой, — ни дыхания.

Мещанин поднялся, и я среди темноты перестал различать черное пятно его смутной фигуры. А в темноте, как по мановению, смолкло. Беспредельная, ненарушимая тишина стояла неповторяемо среди ночи. Я не знаю, сколько прошло времени.

Захрустел каменистый хрящ под ногами, и возле черным пятном с'ежилась фигура хозяина.

— Слово такое знаю от них. Теперь ни один не подойдет.

Я привалился к камню и, глядя в темноту, стал думать о своем, сидя на твердых голышах.

Он хозяйски пошуршал скорее угадываемой, чем смутно белевшей в темноте бумагой, убирая в сумку провизию. Потом тоже привалился к камню спиной, слабо озаряя папиросой.

— В лесу-то помягче, иглы,—хорошо бы прикурнули.

— Так пойдете.

— Нельзя, уснем, проспим. К полуночи можно тронуться. Тут, небось, не уснешь, — проговорил он насмешливо.

Не хотелось лезть за часами, да и темь была ровная, сплошная, без времени.

Мещанин завозился и потушил папироску.

— Слыштя, а теперича видали ее: ходит, поджавши губы, глаз с меня не сводит, а я вот до вас удрал. А? Она и не видала, обманул. А ее хитрей, как зверя обойти. Там приметливая да хитроглазая, —соринку не упустит.

Мне хотелось думать о своем; впрочем, пусть себе! В стороне справа пронеслось шорканье,—птица, что ли?

Где-то теперь медведи? Где-нибудь устроились в трущобе, и, должно быть, все той же компанией.

Мещанин придвинулся; в темноте я не видел, но чувствовал его расширенные глаза.

— А с чего началось, — странно зашептал он. — Единожды так-то стала на коленки у постели, взяла меня за плечи, отодвинула, смотрела-смотрела да как заплачет. Я туды-суды. «Вы чего, Лукерья Петровна?! Ай недовольны? Ай избидел кто?» Плачет-разливается, слова не выговорит, все держит меня, все смотрит, слезы

заливают ей. Потом прилипла, вот не оторвешь. Да я что же, я с удовольствием... А она, как повитель округ жердочки.

Замолчал. И все та же темнота и все те же горы в темноте — невидимые и молчащие.

— Да. С того и пошло. И будто ничего, стали жить еще ласковее, а у меня солоно во рту сделалось, до чего солоно, аж слюна бегит — одно слово, язык распух. Ей-богу, не поверишь. И как сказать, стал вспоминать прошедшее время, слышь, хотел удавиться, а теперь оглянись, а золотое было. И весь я прежде, как пружиной был, как сжали меня,—вот так вот распрямлюсь до разу, зашибу кого. Да, а после того скучно стало, и во рту солоно, — баба, как баба, как прочие бабы; так же ревнует, так же меня желает...

— А раньше не так, что ли, было?

— Так было, да не так. Да она, бывало, слова там про баб али про девок не скажет, куды-ы! В гордости непомерной бровью не шевельнет, не подумает, куды-ы! Да мне и в голову не приходило хочь в полглаза на девку али на бабу оком, накинуть, хоть тебе писаная краля — без надобности, как их не было. А теперича... хо-хо-хо... х-ха... ххо-хо-хо!..

Он корчился тут возле меня у камня в темноте, а в горах, таинственно-невидимых, кто-то хохотал необузданно, перекликаясь, отливаясь все дальше и дальше, замирая в этой густой неподвижной глубокой тьме.

И, задыхаясь, перехватываемый, оказал:

— А теперича... кобеля ей кладу.

— То-есть?!

— Да так. Видали у нас цунек бегаёт? Лопахонький, на волчонка похож, с хвоста кудластый, из себя серый. Ну, видали? Так вот его... заместь мужа... хо-хо-хо-хо!..

Я посидел и пожалел, что не курю.

— Видали, ноньче стегнул девку кнутом? Это я для отвода глаз. Девочек-то моя запирает на ночь в сарае на замок, а ключ к себе. Вот ягода! Запрет и на, ей-богу! Да рази их запрешь? Им посули полтинник, так они те крышу разберут, ей-богу! Разберут крышу да в дирю, как кошка. А ведь это мне убыток. Как вы думаете? И до чего, сороки, наловчились: залезет позадь дома в кусты да по-шакаличьи, — чистая шакалка, так и выводит голосом, не хуже, как эти зараз. Но тут уж не улежишь! Али улежишь? А между прочим, моя-то ехидина, чуть половица скрипнет: «Ты куды, Гарасим?» — «Да никуды... (чтоб ты сдохла!) блохи кусают»... Прислушаешься, она носом этак тихонечко: ти-и, ти-и... а сама, как кошка: один глаз спит, а другой глядит, ей-богу! Измучит, проклятая... Да что! Извините за выражение, до ветру встанешь, и то зараз: «Ты куды, Гарасим?» Ах, тты!!.. Так всю ночь... А под зорю сон-то сомлеет, я помаю Шарика, влезет он на мою кровать, положу, накрою одеялом, оттреплю за уши: лежи, мол, ни гу-гу! А сам в окно. Моя-то нет-нет, откроет глаз, глянет, а Шарик под одеялом ворочается, блохи собачьи кусают, — и опять заведет глаз: тут, мол.

И вдруг злобный голос в темноте:

— Оседлать вздумала... На-козь, выкуси!

А ведь для него не просто солнце садится в восемь часов вечера, а красный уголек зашипит в море, и он слышит.

Может быть, теперь уже полночь, и олени ждут.

Ничего, посидим молча в этой заполненной темноте — такой чуждой и такой близкой, родной.

Тот вздохнул и, должно быть, подперся рукой.

— Дочка ко мне приедет на каникулы... Как же, как же, во втором классе, — одиннадцатый годок. С аттестатом, сказывают, переведут; в прошлом году с аттестатом перевели, архиерей собственноручно аттестат выдал при всем генералитете; понятливая больно! — с лёту... без промаха... Строгая, молчит, глаза серые, чистая мать. Вот приедет... Тогда опять... Чудно делается. Хожу я, хозяйка моя никакого внимания. И не то что сердчает, а просто глядит сквозь меня, как я стеклянный, все позадь видит, а меня нету. Да хочь я на тот свет залейся, ей все одно. Ну, вот точь-в-точь, как прежде, а? Скажи на милость. Хожу вокруг да около, заколоченный дом, и знаю — живут там, а в каком смысле мучаюсь. Опять же для утешения думаю—баба, обыкновенно, а тоска ссеть. Глядит на дочь, у них там свое, и глаза живые, а на меня скрозь.

И раздраженным, крикливым голосом, в котором зазвенела злоба ко мне, бросил:

— Думаешь, девки! Да, ну их к чорту! Чтoб они передохли! Думаешь, так, для отводу глаз? Я их, стервов, луплю, аж кожа лоскутами...

По смутным движениям я почувствовал — он крестится в темноте, и недовольный голос:

— Не к ночи будь помянут. Айда на тропу!

Он поднялся, выросши темным пятном. Я шел шаг в шаг, с трудом глядя в черноту его качающейся спины. Все та же тишина, все та же темь и те же невидимые все наполняющие расселинами, скалами, пропастями горы.

В лесу лезли через бурелом, цапали шипы. На четвереньках карабкались на невидимые ручки, и я поминутно хватался за пятки сапогов моего хозяина. Я одного смертельно боялся, — потерять это черное мелькающее в темноте живое пятно. Почему я знаю, как он разбирается в этой крошечной тьме? Иногда я скатывался за ним на спине.

Он остановился, торопливо дыша, и я обрадованно подошел вплотную к нему: тут, не упустил. Постояли. Мне казалось, он хочет сказать: «тоска ссечь», но он ничего не сказал, и мы пошли дальше.

Я мучительно устал. Казалось, не будет конца этой ночи, этим невидимым кручам, этому горному лесу, молчаливому, безымянному, как пустыня.

Выбрались, должно быть, на плоскогорье и долго шли по ровному месту, скользя в прошлогодних хвоях, и у самого лица проходили чернеющие стволы сосен.

Над самым ухом едва уловимый шопот хозяина:

— Тут... Ни дыхания!—исчез, и я больше не видел. Я пошарил руками по скользко устилавшей невидимую землю хвое, сел, прислонившись спиной к шершавой коре неохватимой сосны, поставил кверху колени, между коленями положил ружье, — устроился, как дома, и стал ждать.

Чего? Оленей?

Нет, — покоя, тишины, душевного покоя и тишины, которые придут и сольются с темным покоем и тишиной, первозданно разлитыми кругом.

Долго ли тянулась эта спокойная, важная ночь — было все равно. Спокойно дышалось, и плыл тихий теплый смолистый запах распаренной за день и все еще не остывшей хвои. Точно кто-то беззвучно дышал, и его теплое дыхание неслышно наплывало смолистым ароматом.

Потом на секунду тот задерживал дыхание, и кто-то другой дышал холодным чистым дыханием с покалывающим запахом девственных снегов, а временами, тонко пробегая, как узкий зигзаг, возникал живой звериный запах, — лисица ль в темноте посылала мускусный дух своего хитрого тела или чистоплотный барсук, но это — мимолетно. И опять тихое дыхание теплой хвои и строгое дыхание снегов.

Сладко забывающейся дремотой дремлет. Кто-то толкнет: не спи!

Вскинешь глазами, — а?! Нет, ничего — это смолой пахнет, прошлогодней хвоей, сгнившей корой; или сверху из беспредельной темноты хлынет ясный, отчетливый холодок снегов, и опять дремота, и черные густки ночи — не то деревьев, не то тучи всюду.

Я нагнулся поправиться. И у самых ног из глубины, из черной бездонной пропасти, о которой я не подозревал, разом поднялся неуловимо быстрым движением человек; он был смутен и неизмеримого роста, потому что голова его пришлась у самых сапог моих. Мы

с секунду оставались в одном положении. Потом я откинулся, и он исчез в черном провале тем же мгновенно неувловимым движением.

— Ничего... Нужно только переждать, пока сердце перестанет судорожно колотиться.

Я долго сижу, и стоит темная пустота — уже не слышу ничьего дыхания.

Долго сижу без времени и знаю — если нагнусь, опять неизбежно произойдет то же. И я нагибаюсь, и из провала неувловимо подымается человек; откидываюсь — он исчезает в черную пропасть.

Опять долго сижу. Не странно ли — кругом; все ведь такое, как было: тьма, во тьме горы — и, может быть, они только притворяются, что спят. Я на самом краю черной невидимой пропасти; не шевелю ногами, чтоб туда не посыпалась земля. Даже если придет утро, я не знаю, что оно принесет.

Сколько бы ни ждал, я знаю — повторится то же. Тогда нагибаюсь и смотрю; он подымается и голова его неподвижна. Я гляжу, но не могу разглядеть — вижу только темный абрис. Долго гляжу, неглубоко дыша.

И вдруг глаз поражает тоненькая лучистая звездочка на самом дне провала. Быстро подымаю голову: вверх, в темноте точно такая же звездочка.

Торопливо сую ружьем в бездну — чернота ее колебалась, запрыгала и исчезла звездочка, задрожал и пропал человек. Сунул руку — влажно, обежал пальцами — огромный выгнивший пень, и в середине вода от дождей, отражающая меня.

Только-то?! Стало скучно. Прислонился, закрыл глаза и долго сидел. Ждать-то нечего. Когда-то люди были счастливы по-звериному. Когда-то будут счастливы, но... как?

И вдруг огромным усилием воли я попытался проснуться туда, где елецкий мещанин слышал, как шипит в море краешек красного солнца, где из черной бездонной пропасти неуловимо мгновенным движением подымается человек несказанного роста. Но туда не проснешься.

Между просветами черных сосен чуть зазеленело утреннее небо с погасшей звездочкой.

ЧИБИС

Весь истрескавшийся, в серых кочках нескончаемо млеет иссохший луг в призрачно струящемся зное. Пятнами рыжеет корявая, как вывернутые корешки, неведомо как уцелевшая шершавая травка, которую и овцы не берут.

Кочковато сереют ложбины высохших озер. По краям — нешевелиющийся белый пух, но гусей не видно.

Пыльные дороги пусты. Пусто иссохшее, помутневшее небо и на нем — маленькое колюче-ослепительное солнце.

Далеко разлеглись невысокие сизые горы. Ни промоин, ни сбегających балок и оврагов. Лежат только дымчато-синеватые тени в задумчивом молчании, и не то печаль в них, не то смутная надежда. И, теряя в прозрачно-зыблющемся воздухе контуры и краски, уходят они невысказанные и неуловимо тают в облегающей фиолетовой дали.

На этой громаде иссохшего, залитого солнцем простора, нарушая царство знойной неподвижности и пустоты, далеко по дороге зачернелось живое, затерянная

точка. Она ползла по пыли извивающейся дороги, и уже можно различить маленькую, как игрушечную, лошадь и повозку, а в повозке — непокрытые головы, и солнце беспощадно над ними.

Лошадь сонно ступает по лениво встающей пыли, влетая в изодранный, из которого лезет солома, хомут, не мотая костлявой со слезящимися глазами покорной мордой, и измученные уши по-собачьи обвисли.

Мухи тучами липнут, но она не шевелит обдерганным хвостом, и только на брюхе судорожно дергается кожа, когда овод прокусит, и по облезлой шерсти извилисто закровянится.

На передке, задом наперед, свесив босые, черные от загара ноги, в пестрядинной рубахе и портах качается, бубнит мужичонко с в'евшейся в собачьи космы пылью.

Три серых от пыли ребячьих головенки в самых неудобных позах качаются в скрипуче качающейся повозке.

За задними колесами, не отставая, идет девка, не отрываясь, глядя на свои мелькающие в пыли босиком ноги.

Баба сидит возле мужика, правит веревочными вожжами, поминутно чмокая узкими, иссохшими, прилипающими к синим деснам губами. Лицо у нее такое же, как у лошади, костлявое, со слезящимися глазами, с измученностью, которая, казалось, навсегда прилипла к костям и бледной обтянутой коже.

— Кто?.. ну, сказывай, кто?.. Кто обувает?.. Кто одевает?.. Кто кормит?.. опять же я. В экономии

приказчик сказывает: «И чево ты с ими валандаешься? Одно слово, ты — красавец, а они што? Прорва голодная». А я што сказал? А?.. Сказывай, што я сказал?..

— Ну, будя.

— Нет, ты сказывай, што я сказал, а?.. Што я сказал?..

— Да будя тебе... Но-о... Но-о, супостатка!..

— Али б я прошибся, не надел сапоги с набором, а?.. Сказывай.

— Ну, да ладно... вот прилип... Но-о, окаянная!..

— Ах, ты, утроба проклятая!.. Как ты законному мужу отвечаешь?

Он поймал ее за косенки, соскочил и, боком поспевая босыми ногами за повозкой, стал таскать. Ребятишки привычно закричали, лошадь остановилась и, не оглядываясь, стала ждать со сбившейся на бок веревочной сбруей.

Девка оперлась о колесо и чесала ногу о ногу. Пыль изнеможенно висела неподвижными клубами.

— Душегуб!.. Кровопивец!.. Ой, батюшки!.. Ой, светы!..

Со сбившимся платком и ненавистью, преодолевшей вечную усталость, она вырвалась и, отбежав, стала поправлять выбившиеся жидкие косички и платок.

Мужик было погнался, но она с резвостью, несвойственной костлявому лицу, измученности и озлоблению, побежала.

Мужик остановился:

— Чорт с тобой!

Поскреб в космах.

— Куды спрятала бутылку?

— Все вылопал.

— Брешь, оставалось... запрятала... убью!

— На кой ляд она мне, — сам в солому засунул.

Тот полез корявой, черной, как земля, половавшейся от ветра, солнца и работы рукой в сбившуюся под ребятами в труху солому, вытащил бутылку и покачал на солнце сверкающую колебанием влагу.

— И дна не кроет... эхма!..

И, запрокидывая голову и бульбукая, стал глотать.

Опять скрипит среди рыжего, сожженного, с высохшими озерцами луга повозка; идет за колесами девка, и ноги по колено в ленивых серых клубах медленно встающей горячей пыли.

Пусто. С тайной надеждой стоят на самом краю сизые смутные горы, далеко уходя, тают в знойно-трепещущем воздухе, и надо всем— маленькое ослепительное и иглистое солнце.

Женщина, безнадежно глядя вперед костлявым лицом, без усталости дергает веревочные вожжи и чмокает истрескавшимися синими губами:

— Но-о... Но-о, стала...

Разморенные жаром ребячьи головы не держатся на шее, валятся то на ту, то на другую сторону.

Мужик с красным, пылающим, точно из бани, липким от пота лицом, черным раскрытым ртом, в который бьет солнце, и мотая от тряски из стороны в сторону головой, лежит навзничь, свесив через грядку согнутые в коленях ноги, храпит мучительно, захле-

бываясь, на минуту замолкая, перехваченный удушьем, и опять заглушает храпом одинокий скрип повозки.

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой и над лугом и жалобно, тонко кричит: «чи-и... ви!.. чи-и... ви!..» — жалобно и безнадежно, как будто, кроме этого иссохшего сереющего луга, ничего нет на свете.

«Чи-и... ви!»

— Маму-уня, папу-уня задавил...

— Нишкните!.. Проснется, — будет вам...

Ребятишки жмутся в самый угол повозки, стараясь не притрогиваться к обжигающему дереву. Качается мертвое тело с согнутыми ногами. Носится белая, с черноопаленными крыльями птица, как потревоженный дух, с жалобным криком и все спрашивает, не ожидая ответа:

«Чи-и ви?..»

— А?.. А?.. чего такое?.. Но!.. Но!.. — испуганно и беспокойно заметался мужик с красными, как мясо, глазами, с соломой в космах, с иссохшей в углу рта слюной, к которой неотступно липли носившиеся мухи, и, выхватив вожжи, задержал.

— Што ты!.. Ополоумел... окстись...

Лошадь стояла. Далеко позади над дорогой, ее заслоня, висела нетревожимая пыль.

Горы возле. И они уже не сизые и манящие, да и не горы это, а просто неровные, размытые обрывы, а за ними по верху нескончаемо уходит степь. По подошве тянутся сады.

У дороги сереет сруб колодца и, наклонившись, заглядывает в него длинный журавель с висящей на конце веревкой и железным крюком для ведра. Из-за верб домовито глядит соломой крыша.

— Должно, постоянный.

Мужичонко отвязал под повозкой ведро и стал поить лошадь. Детишки вылезали, расправляя затекшие ножонки; баба подбирала по дороге солому, высохший навоз, разожгла и повесила на треноге котелок. Жар, пыль, мухи, иссохший, истрескавшийся простор как будто остались позади, и куда-то приехали, и как будто не надо уже опять ехать по сожженной степи, куда глаза глядят.

Мужичонко, обобрав слегка из бороды и усов солому и независимо похлопывая кнутом по всплывающей дороге, подошел к жердевым перекосившимся воротам.

— Эй, хозяин!

Отчаянно залились собаки, норовя ухватить за голые ноги. На дворе, затрушенном соломой, просторном и жарком, никого не было. Только под дальним навесом, не притрагиваясь к сену, стояла лошадь, отмахиваясь хвостом, била ногой по брюху и мордой сгоняла надоедливых мух.

— Хозяин!..

Щелкнула щеколда, на крылечко в ситцевой горошком расстегнутой рубаше, из-за которой косматилась грудь, и ситцевых подштанниках, босой и красный, — должно быть, спал, — вышел чернобородый плечистый казак.

— Можно сенца купить?

Тот провел рукой по лицу и бороде, снимая сонливость, деловыми строгими черными глазами пощупал повозку, лошадь, ребят и беззаботно похлопывавшего кнутом по пыли мужичонка.

— Деньга есть?

— Ну, как же без денег! Без этого товару нельзя. Сколько?

— Тридцать пуд. Давай.

Мужичонко порылся в портах, набрал медяков и отдал.

— Цены еройские. Да цытёте вы, дьяволы!

Казак молча пошел через двор, не отгоняя злобно рычавших на шедшего за ним мужика собак с черными пастями.

За плетневым навесом с махавшей хвостом лошадью тянулся сад, и на выкошенной поляне стоял стог, а возле огромные, с досками на веревках весы.

— Веревка есть?

— А мы без веревки. Руки на што.

Тот молча, не сдаваясь на фамильярность, отвесил.

Давно вычерпали весь котелок, и ребятишки, обсев кругом, вылизывали ложки. Отпряженная лошадь стояла теперь без упряжи, еще более худая и костистая, и, слезясь, с усилием жевала сено, не отгоняя роившихся около глаз мух.

Мужик постоял, почесал зад, — делать было нечего.

— Ну, што стоишь, корова! Али дела нету,— злобно накинулся на дочь, прислонившуюся к повозке и безучастно глядевшую недумающими глазами на пропадающую в лугу дорогу.

Девка была крепкая, круглая, с загорелым зовущим к себе лицом, с дремлющей, просящей работы, движения, смеха — силой.

Не было работы — не было расхода томящемуся напряжению. И отец знал, что делать нечего. Что и ему делать нечего. Пошел, поднял, привязал оглобли, натянул дерюжку и лег в ее маленькую тень, сквозившую солнечными пятнами, и сейчас же навалился тяжелый разморенный сон знойного дня, тоски и безделья.

Ребятишки сидят посреди дороги, палимые солнцем, и играют, закапывая ноги в пыль. Баба, подперши костлявое лицо, пригорюнилась у повозки.

Прозвенели колокольцы, под'ехала и стала у колодца тройка. Кучер поил по очереди из ведра лошадей, а в экипаже сидел господин в белой фуражке под большим белым зонтом, усталый и разморенный, и раза два остановил глаза на девке. Потом тройка побежала, оставляя в воздухе длинную пыль и мягкий, слабеющий след колокольцев, пока все не потонуло в мареве.

Одно пылающее солнце.

По лугу пошли длинные острокобые тени.

Солнце сдалось и было уже над садами, большое и остывающее.

Мужичонко поднялся, зевая, крестя рот, точно хотел закрестить подымавшуюся, не отрываемую, как впившийся клещ, тоску. Опять запрягать, опять тащиться неведомо куда по молчаливым степям, мимо хуторов и станиц, мимо чужих покосов, пашен и жнитв, глядя, как люди убирают хлеб, возят, пашут, живут

заботой и кормящим трудом. Он крякнул, подтянул поясок у портов и повел поить лошадь.

Со степи шли коровы, степенные и важные, помаывая полным выменем. Легонько гогоча, ворочались, белея, гуськом гуси.

Хозяин отворил коровам ворота и подошел к плетню, взявшись за торчавшие из него колья.

Мужичок *суетливо* заговорил *обрадованно*, подавляя хоть на время гложущую тоску.

— Тянемся вот... работишки где-ни-то... работенки какой-ни-то...

— Та-ак...

— Пить-исть надо... семейство... Опять же обуза-одежа... и все прочее...

— От своего хозяйства ушел?

— Како хозяйство! По экономиям и жил... в работниках.

— Та-ак...

Помолчали. Казак оглядел луг, уходившие вдоль обрыва сады и погладил бороду.

— Работа и у меня есть.

Мужичок придвинулся, не спуская глаз, точно этот бородатый человек со оказанными им словами сейчас растает в воздухе.

— Заболел у меня работник, ногой не владеет, в больницу поехал... Хлеб убирать, да и по домашности...

— Ну-к што ж... Я с превеликим...

— Лошадь у тебя.

— Што ж, лошадь продать можно.

— Сколько возьмешь?

— Вот как перед истинным, сорок два с полтиной отдал... огонь, а не лошадь...

— Кожа да кости... Хошь, до Покрова оставайся с бабой, да и девка будет пособлять. Харчи твои, а за лошадь десятку дам.

Мужик горестно хлопнул об полы.

Вечером, когда все стало смутным, неузнаваемым, деревья и избы, и плетни, и черные сады, и лошади звучно жевали под навесом, хозяева семьей сели ужинать посреди двора на траве, — девчонка-подросток, двое мальчишек да хозяин с хозяйкой. Казачка — степенная, крепкая баба —позвала работника:

— Степаныч, слышь, иди похлебай; покличь ребят и хозяйку; ничего, поешьте, а на завтра сами сготовите; повечеряйте с устатку.

А когда после ужина прибрали посуду, обе бабы, смутно белея, сидели на ступеньках крылечка, и тянулся монотонный один и тот же, как будто много раз рассказанный рассказ.

— Было свое хозяйство, да сплыло. Спервоначалу держались, а потом невмочь стало, ушел мой-то на заработки. Побилась я, побилась с детьми, пошли по кусочкам, потом землю продали, поехали к нему. Лето проработаем, зиму бьемся. Работали по экономиям да по плантациям. Кабы один, — с семьей чижало. Видят — с семьей, зараз прижмут, цену меньше. Семеро их всех-то было, зараз вот только четверо.

— Куды же пристроила энтих?

Баба замолчала.

Стояла тихая летняя темнота, и в ней черными сгустками плетни, деревья, крыша, и несло с луга запахом пыли и разгоряченной за день все не остывающей земли. Звучно жевали лошади. Едва приметно, чертя темноту, носились нетопыри. Небо усеяно.

— Андельская душка померла, покатилась... Ну?

— Одного глотошная задушила, один животом изошел, а энтот... старшенький-то...

Послышались хлюпающие прерывистые звуки, как: будто в животе вода болталась. Казачка проговорила:

— И-и, болезная, легко ли... инда к сердцу прирастут... с кровью родишь, с кровью оторвешь...

— Молотилкой... ногу оторвало... сутки только жил...

— Божья воля... разве свое дитё забудешь...

Обе замолчали, смутно белея в темноте.

Казачка вздохнула, жалеючи жалостью налаженного, крепкого хозяйства, где все идет по порядку, как надо, с своими привычными хозяйскими заботами, хозяйским горем, довольством, радостью — жалела особенной хозяйской жалостью ту, у которой нищета, голод, отрепья — тоже в порядке своем, неизбежном. Но материнское горе, эти хлюпающие, невидимые в темноте бабьи слезы, ни с чем не считаясь, горько сказались материнскому сердцу, и она тоже всхлипнула.

— Бог не без милости, энтих вырастишь.

— Та-ак, только замучилась: чую вот — замучилась, ляжу — рукой не тронусь. У людей — дети, растят, пределяют, а у нас девка — одно горе.

— Шалыганит?

— Кабы так!.. Покорливая, не балуется, работница на всякую работу. Ядреная девка, правду надо сказать, без из'яну. Другие справляют, об том хлопочут — выдать, а мы одно бьемся, как рыба на сухопуты. По весне ранней пределились на плантацию к армяшке; черномазый, как обезьяна, и капусту сажает. Во кочаны, с конскую голову, поливает очень искусственно, колесом. За зиму наголодались, бесперечь рады, на всех на троих плата, работы не оберешься по весне — садка, поливка, полка, ребятишки при нас. Одначе через неделю армяшка идет, как паук, мохнатый, че-орный, бельмами ворочает, а груди у него все в шерсте, как у доброй собаки. «Вы, грит, то ни то, а закону моему повинуйтесь: хозяин — я, хоча наизнанку выверну; а девку беспрременно поучите, чтоб спала со мной. У меня такое заведение, а она, чем благодарить, брыкается, кобыла». Обмерла я... Да ведь дитё мое кровное, ай на то родила... «А-а, грит, марш, вон на дорогу!» — и зубы оскалил бе-елые. Мой-то поймал девку за косы, оттастал, собрали пожитки, по-ошли по степи.

— Азиаты, —одно слово, что черкесы, что армяне, народ арайский. И фрукт и овоц у них омманые. Вот привезут в станицу капусту, возьмешь кочан — руками не обымешь, а свариишь борщ — ее, капусту, там не слышать. Тоже, к тому сказать и сама, может, до него льстилась, бывает и это.

— И-и, ро-одная моя, девка-то бегаёт от него, как очумелая, ревмя-ревет: все, грит, маменька, по закону, а я одна по-собачьи; и, грит, ко-осматый он, как Пол-

кан, — собака у нас в деревне была, злая да караульная, — разявит, вся пасть черная.

— У нас тоже хорошие собаки с черными ротами, бондарь из станицы, дай ему здоровья, привез щенками. Мне, говорит, топить их жалко, а вам пригодятся.

Помолчали.

Попрежнему теплая, нешевелиющаяся, смутно сквозящая звездами темнота, равнодушная ко всему, у которой — свое, неживое, вдруг оживела, шевельнулась: родилась неведомо где, смягченная расстоянием, тишиной, песня, бабьи голоса.

Работница вздохнула.

— Девки-то по садам полуношничают... О-о-оххо, прости, господи, — и казачка закрестила рот, чтобы черный туда не шмыгнул. — Должно, пошта.

Колокольцы прозвенели мимо в темноте, и колеса прокатились, потом все растаяло, и было все то же.

Надо было спать, зеваается, да одна никак не вздумает подняться, хочет дослушать, другая — никак не уйдет, хочется полегчить душу изболевшуюся.

— Ходили в степе недели две, везде забито, везде народ, наемка кончилась, жалко стало, ребятишки подбились, идем табором, с голодухи аж синие стали.

— Конь у вас.

— Опося купили. Наконец того пределились в экономию. Огромная экономия, собак видимо-невидимо, народу, приказчики, молотилки, сад при доме. Вздохнули. И ребятишки отошли трошки, повеселели. Думали — все лето проработаем. Месяца два прожили. Гляжу, на покосе как раз было, бежит Гашка простово-

лосая: «Мамонька, ой, мамонька!» Оммерла я, так и оммерла. Господи, думаю, може, уж не возворотишь! Вдарила ее по щеке: «Говори, сука!» «Ой, грит, от силы вырвалась, все бока обмял старший приказчик-то». Сказала вечером отцу; намотал он ейную косу на руку и бил смертным боем, аж кричать перестала, а дня через три приказчик грит: берите расчет, не нужны. Ой, и хлебнули горя. Купили лошаденку, повозку, вот ездим; сушь ли, дождь ли, сонце, погода ли — так ездим бесперечь, и степь, ее глазом не окинешь, луга,— сухие они у вас, — а мы все ездим да глядим, как люди работают.

Она подперла голову и горько замолчала.

— Закладает твой-то?

— Как в работе — маковой росинки не держит, ну, а как без дела — глядишь, бутылку, другую зацепит, не без того.

— Спать надо. Будешь утром доить, Иванна, бурую, сиськи помажь салцем — полопались, кабы ведро не перекинула.

Над черными садами выползают новые звезды. За плетнем кашляет больная овца.

Новый работник с азартом влег в привычный хомут. Точно его была эта скотина, эти лошади, эти овцы, этот сад, тянувшийся за плетнями, пестреющий наливающимися яблоками.

Девка гоняла мотавших головами лошадей, а Иван на лобогрейке правил ножами и сбрасывателями, и она, скрежеща, резала пустую пшеницу, оставляя позади, как выбритую, щетину, и пот градом катился с обоих.

Не было ни праздников, ни церкви, ни передышки, да и не думалось об этом. Баба, подвязав голову ушастым платочком, полола, окучивала и, согнувшись над коромыслом, бесчисленно таскала в огородах воду на поливку. Как будто долго бродили по сожженным степям и вот нашли свою работу, свой дом, свое хозяйство и рвались, обо всем забывая, только бы не упустить часа.

Заворачивали на постоянный проездие, — попьют чайку, покормят лошадей и позвенят о дугу колокольцем, затихая. Останавливались купцы с ярмарки с крепкими кряжистыми лошадьми, с повозками, набитыми товаром, обтянутыми холщевыми будками, сами ражие и красные от довольной жизни.

Раз хозяйка сказала работнице.

— Слышь, Иванна, девка-то твоя, должно-таки, шалыганит. Надысь иду в катух свиней кормить, слышу, за плетнем твоя-то доит, а мой старый чорт обцапал ее, — она хоть бы што, как кошка на сметану.

Лицо у хозяйки было чужое и непрощающее. Губы у работницы посинели, стали тонкими, и она их быстро облизала.

А ночью Иван вывел дочь за сады, чтоб не слышать было, и, боясь, что забудет, исступленно возил вожжами и таскал за косы по черной, иссохшей, полопавшейся от бездождья земле, а в темноте ныряли нетопыри. Девка кричала, цапаясь руками за кочки:

— Ба-тю-у-уня!.. Пожалей... старый он, не хочу я его... ой-ой-ой... чем же я-то виновата... лезет он.

Бросив смутно белеющее пятно на земле, неподвижное и невздрагивающее, он шел к себе, собирая трясущимися руками вожжи, и бормотал:

— Ежли хочь примечание, в петлю головой суну, один конец... Все кобели на нее.

Степные работы шли нерушимой чередой. Сняли пшеницу, подошли арбузы, стали возить в скирды, и по вечерам и ночам, бесчисленно звеня, затренькали сухим и звонким треньканьем миллионы выведшихся кузнечиков. «Кузнец закричал, лету конец», — говорили. Подросшие утиные выводки летали зорями на пшеницу кормиться. Попрежнему безоблачно палило и землю, и людей, и скот.

— И зачем найматься таким, — шипела хозяйка, и лицо у нее становилось все вытянутее и суше, — сидели б у себя в Рассее, а то чужой хлеб едят и пакостят, смуту в честное семейство носят, беса тешат.

Баба в ушастом платке рвалась в работе, как захлестанная кнутом кляча, чтоб покрыть какую-то негодянную, но непростаемую вину. А девка ходила с незаживающими рубцами, с темно-завалившимися глазами, — отец бил без передышки.

Разговелись медом и яблоками. И по мере того, как отходили работы, их напряженность и спешность, Иван судорожно хватался за всякое дело, только об одном помышляя, дожить до срока, и по ночам за садами неслись обрываемые крики, вой и плач.

Раз ночью там никто не кричал, а Иван, вернувшись, злобно кинул вожжи.

— Убегла. Ну, завтра наверстаю, всю кожу спущу.

Когда все заснуло, мать тихонько выбралась и долго ходила, белея, между деревьев, в саду. Было тихо и сонно, только с луга и со степи несло бесчисленное треньканье. И тихо стояло:

— Гаш, а Гаш!..

Пусто. Баба стала дрожать, и все в саду несмелое, полупшепчущее:

— Гаш!

Вышла на луг. Он был тесен, едва видно под ногами. Долго и одиноко ходила, дрожа. У дороги смутно над черной землей маячило белое пятно.

— Гашка!

Девка, сидя в пыли, беззвучно качалась.

— Ну, вставай.

Та поднялась.

— Замучилась я.

Постояли, и мать сказала:

— Иди, Гашенька, у город... и там люди живут...

— Замучилась я.

— Иди, Гашенька... вот я тебе каравайчик припасла... Господь тебя сохранит, царица небесная... Ну, слышь...

Она ее притянула, поцеловала и крестила в темноте. Та пошла мягко, беззвучно по пыли босыми ногами и остановилась. Они стояли так в нескольких шагах, смутно различая только белеющие пятна. И вдруг материнскую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теплое дыхание:

— Страшно, мамунька!..

Так они стояли, крепко держа друг друга, роняя слезы на грязные шеи. А когда ушла, над дорогой была только темнота, и в темноте долго белела мать...

Над лугом в одном месте посветлело, — хотел всходить месяц. Надо было итти спать.

*

Захолодали утренние зори, но еще в полную беспощадную силу палит днем солнце. Неоглядная степь. Сколько хватает глаз, знойно желтеет щетина снятого хлеба, и по дороге, толсто застланной пылью и затрушенной золотой соломой, тянется повозка.

Разморенная лошаденка в веревочной сбруе равнодушна к полчищам снующих мух, баба, вытянув костлявое лицо, глядит в неведомую даль, чмокая иссохшими, сине-потрескавшимися тонкими губами, дергая веревочные вожжи:

— Но-о... но-о-о, милая!..

Через грядку, свесившись в согнутых коленях, болтаются черные, полопавшиеся от земли и загара босые мужичьи ноги, и три ребячьих головенки жмутся в угол, стараясь не притрогиваться к больно разогретому дереву.

— Ма-му-у-ня, па-пу-у-ня задавил...

— Нишкните, проснется, — будет вам...

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой, над степью и кричит жалобно, тонко:

«чы-и...ви!..» как потревоженный дух, с жалобным криком — все спрашивая и не ожидая ответа:

«Чьи ви?..»

За колесами, медленно поднимающими виснувшую пыль, никто не идет.

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Невидимый дождь сечет наискось с правой стороны, и кругом ни зги не видно.

Чмокают в темноте в грязи копыта, и лошадь, должно быть, мокрая, с прижатыми ушами, в мокрой сбруе, и вода бежит по спине, по шее, по мокро-сваливавшейся гриве, но за тьмой, наполненной дождем, ничего не видно.

Смутно тяжелым, черным, уродливо неправильным пятном проступает спина возницы, покачивается, то сливается краями с темнотой, то совсем тонет, и тогда слышно только, как сечет невидимый дождь невидимую грязь, лужи, повозку, дождевой дырявый плащ, пахнущий старой клеенкой.

Тот, что в телеге, привалился к задку и покачивается и переваливается вместе с телегой.

Кругом все заполнено влажным говором, бормотаньем, непрерывным бульканьем и журчащим шопотом, всюду проникающим, беспокойным и хитрым, но для троих, которые уже давно в этом переполненном водой мраке, — глухо и мертво, и говор, и хитрое

бормотанье не нарушают мертвой тишины и молчания, в которых нет человеческих голосов.

И как в этом шуме и говоре нет живого говора и шума, так нет в нем живой думающей мысли. Из троих же, медленно подвигающихся среди влажного царства темноты, грязи и непрерывно секущих звуков дождя, каждый думает по-своему.

Впереди, утопая выше щетки, нагнув голову, вытягиваясь и чмокая копытами, тянется в оглоблях старая кобыла. Она — неизвестной масти, но сколько ни приглядывайся, — теперь черная, как и эта черная ночь.

Мотается и шлепает отвислая губа; кобыла вся вытягивается в нитку, вытаскивая загружающиеся сзади колеса; с свистящим хрипом выворачиваются трепещущие ноздри.

Уже сколько часов все то же, и все те же мысли, простые и несложные, в форме проплывающих ощущений: медленно плывущая перед глазами темнота, мерный звук чмокающих копыт, от которого все чаще и чаще начинают подгибаться узловатые колени, и жгучие лежащиеся по коже полосы от кнута и поминутное ожидание их.

Среди ропота и шума дождя, поскрипывания осей во втулках, она ясно каждый раз слышит предостерегающий свист кнута, судорожно на секунду выгибает спину, а когда ременная полоса жгуче в'естся по всей длине в кожу, слегка делает попытку взмахнуть мокрым неподвижно отяжелевшим хвостом, — дескать, и так знаю, больно... И выплывает сухой с мягким пахнущим под ногами навозом сарай... сено

в темноте колет мягкие губы... выдергивает и начинает жевать... опять темнота и секущий спину дождь, и больно в'едающийся в на секунду подогнувшуюся спину ременный кнут.

Сколько помнит себя кобыла, это — все одно и то же, все одно и то же — всю жизнь. Длинная бесконечная дорога медленно пропадает сзади, длинная бесконечная дорога выползает впереди...

Думает и тот, что качается темным пятном на перекладинах телеги. Дождь сечет справа и спереди, стараясь пробраться в одежду, мочит свалывшуюся бороду, обвисшие усы, моет заросшее лицо и сбегает густыми ручьями по стоящему колом клеенчатому плащу, предательски пробираясь в протертые в нем дыры.

И мысли плывут в темноте медленные и такие же простые и однообразные, как шум дождя, как невылазная грязь, в которой медленно ворочаются колеса, и без конца чмокают копыта.

«Дождж!.. И все идет и идет, как подрядился... Но-о, милая! Чижало!.. А то не чижало?... По ступицу!.. Темень, не видать... а то видать, что ли?.. Хоть глаз коли... Половину проехали... а, може, не проехали, чижало, по ступицу... Верно, проехали. Когда выехали? Гляди, часа четыре тянем... а только навряд проехали, по ступицу... Кабы не стала... Но-о, милая, чего ей становиться? Корму вволю дал... Станет, как бог свят, станет, по ступицу, хоть на себе волоки... Осерчает, гляди... Спит, привалился, спит... Грех-то какой цельную тройку угнали, долго ли... даром что богатый, а тоже, чай, кручинится. Как же можно... теперича

на станции давно был бы, а то вот тянись... Но-о, милая!.. Должно, спит... пушай спит, по крайности выспится, не так горько будет... Но-о, милая... кабы не стала лошадь... с чего ей стать?.. Кабы не кормил... Станет, беспрерывно станет... по самую по ступицу».

И тянутся эти мысли, тягучие, плоские, все одни и те же, и сечет дождь, и мокрая, наполненная непрерывным бормотанием дождя нерасступающаяся темнота.

Третий тоже думает.

В темноте и в темно проступающей телеге его почти не различишь. Привалился к задку и темно покачивается из стороны в сторону, когда телега попадает в размытые ухабы, и дождь так же наискось усердно сечет его, потоками сбегая по мягкому резиновому плащу. На коленях целая огромная лужа колыхается и плескается, как в чашке, — лень вылить.

«И чорт меня угораздил... Цыгане, разумеется, цыгане, кому же больше?.. Жаль коренника, — старый, а отлично бегал... Нет, не поспеем к поезду... разве тут поспеешь с этим дураком... Темень... Тянемся, как за душу тянут... Воду бы надо вылить, болтается на коленях, да чорт с ней... Черно, как чернила... Теперь бы чистое белье, да чистую постель, да Маню... Эх... Странно, даже когда обладаешь ею, ее глаза... в ее глазах что-то остается недоступное, и это раздражает... Дождь падает, падает, падает уныло, однообразно, и нет ему и не будет конца... Темно, а в темноте лежит степь — мокрая, молчаливая, и нет там ни-

кого, а мы без конца болтаемся по раскисшей дороге, и ничего не видно... Ой... вода за шею пробралась... Теперь не буду ворочаться, пока не согреюсь... Хоть бы уснуть... Да... о чем это я думал? Маня... Она сложная, непонятная и загадочная... А хорошо бы... грудь... руки...»

Дождь сечет, сечет, сечет наискось, стараясь хорошенько мочить лицо, и ничего не видно — нераступающаяся тьма без конца и начала, и в ней только слышно: «но-о, милая...» да удары кнута, да заглушенный скрип колес, да толчки переваливающейся телеги.

Проходит час, а, может, два, а, может, три, — все то же.

Лошадь уже не думает. Она шатается, свистит дыханье. Копыта редко, судорожно, с усилием выпрастываются из засасывающей грязи, и все так же ничего не видно.

Не думает и мужик, только хлещет лошадь в темноте, и темное смутное пятно его фигуры покачивается на передке.

Не думает и барин. Задремывает, и тогда телега, и возница, и лошадь, и тьма и дождь уплывают, и он мягко качается, и, не поражая необычностью, то ржет его тройка, распустив хвосты, подняв головы с раздувающимися ноздрями, бежит, гулко отбивая копытами, то цыгане молча сидят на корточках в кружок, в середине костер, ночь стоит... пляшет Маша... паркет блестит... огни... зеленые столы... кучки золота и...

Открывает глаза

Шум дождя — ровный, монотонный, ненарушимый. Но не чмокают копыта, не качается телега, не поскрипывают колеса, и лужа на коленях недвижима, не болтается.

Впереди, перед глазами, не маячит уродливой чернотой спина возницы, а стоит ровная густота, как с боков, как сзади. Из темноты голос:

— Стала, вот.

— Ах, ты, чортова телятина!.. что же это ты сделал?..

— Стала, — что ж с ней поделаешь?

Во влажной, шумящей дождем темноте хлюпающие по грязи, как будто равнодушные шаги, его шаги, — должно быть, около лошади ходит.

— Чорт! Убить тебя мало...

— Стала... кабы не кормил... по ступицу... что с ей возьмешь... да и кормить-то... чем кормить?.. сами голодные...

Пассажир все-таки не ворочает колен, чтобы не разлить лужу. В горле бешено застревают ругательства — и знает, что все равно не пособить, но надо освободить горло, и он раздражается бранью:

— Телятина!.. Черти на твоей башке мало молотили... Болван!.. Ну, что теперь из твоей поганой хари вымесить можно?.. Взялся везти, а теперь стой на дороге... Мало вас, чертей, порют, да гноят по тюрьмам... Сукин сын!..

А в ответ темень, невидимо хлещущий дождь и равнодушно ленивые шаги в темноте по грязи и голос:

— Стала... Што ж с ей теперь сделать... По ступицу...

Тянутся черные, мокрые, равнодушные часы, в которых потонуло и раздражение, и грубые окрики, и брань, и покорно равнодушные шаги, и голос из темноты.

Сидят. Лошадь невидимо жует, мужичонко надергал из повозки сена и навязал на оглоблю, сам смутно чернеет уродливым пятном у передка, к которому привалился.

Скучно. Тянется время, как эта бесконечная темнота. Недвижима лужа на коленях, и лень ее вылить.

Из темноты, заглушенные, придавленные, прорываются звуки, как будто старому волку зажали глотку, и глухо прорывается вой, похожий на икоту.

— Ты чего?

Он, должно быть, трясется, вздрагивает повозка, и ляскают зубы.

— Холодно, трясет, зуб на зуб не попаду... Мокрый весь...

— Да ведь у тебя плащ?

— Вишь, прохудилась клеенка, дождь в дырья хлещет, весь мокрый... аж нутро все трясет...

Опять тянутся скучные, мокрые, темные часы. Однотонный говор дождя. И под стать им тянутся мысли.

«Трясет его, повозку качает... Должно быть, нитки сухой нет... Неизвестно, сколько еще простои́м. Чего доброго, горячку схватит... Да ведь не привыкать стать, и не в таких положениях бывал, не сахарный...

Гляди — семья... Подохнет, — новый табунок нищих пойдет побираться... Э-э, вздор, рассантиментальничался... Э, трясет, как волк, зубами щелкает...

— Ты бы укрылся.

— Вва... ва... вва... ва... н... нечем... войлоком бы, да вы сидите...

— Что же не скажешь!.. Кисейная дама... Жеманничает... Иди, ложись, что ли... Лужу-то вылить...

Он двигает затекшими коленями, лужа выливается. Подымают полость, оба забираются под нее.

Слышно, как сверху немолчно и мягко сыплется дождь. Казалось, темнее стоявшей ночи ничего не могло быть, но под полостью непроницаемо густа чернота, и ничто в ней не маячит.

Лошадь жует, и тянутся мысли.

«Однако, он сопит... Согрелся... Чистый тюлень... А вот не пожалей, пропал бы. Даром, что привычный народ, а побудь-ка ночь под дождем мокрый, и пропал... Семья. Что ни говори, приятно спасти человека... Есть наслаждения не только в женщинах, не только эгоистические, но и в самопожертвовании, и в экономии жизни это, быть может, уравнивает... Что-то тело чесаться стало, как иголочками... Неврастения-то, нет-нет, да и напомним. Кто его знает, сколько тут простои́м. А пованивает!.. Тьфу... чорт, дышать нечем!..»

— Ты! В баню-то, небось, и не заглядываешь...

В темноте вяло:

— Как не бывать, бываем. Обыкновенно под рождество паримся, опять же под пасху...

— То-то от тебя несет.

— Всякий человек свой дух имеет.

— Всякий человек!.. Скажи еще что-нибудь... От тебя, как из помойной. Ты в десять лет раз помылся бы, — еще проще.

— Зачем? Каждый раз под рождество, опять же под пасху...

А дождь свое, мягко, вкрадчиво, надоедливо.

«Экая скотина!.. Ему хоть кол на голове теши... Поговори с ним... Теперь бы чистое белье, постель... Эх!.. Как все складывается навыворот... Лежи с этим тюленем!.. Эка беда, тело чешется. Всего проскребу себя. Да уж не от него ли, от идола? Ей-богу, от него. Наползут. Фу, мерзость!.. Чорт с ним, с грязным идолом... Вот положенье!..»

— Эй, ты, вылезай.

— А?

— Вылезай, тебе говорят, чорт вонючий. С тебя насекомые ползут.

— Зачем насекомая!.. Тоже давим.

— Тьфу, будь ты проклят... Вылезай, тебе говорят.

— Ну, что ж, вылезем.

Полость отвернулась; пахнуло свежей сыростью; торопливо стал мочить лицо косой дождь. Мужичок вылез. В влажной темноте мреют не дающиеся глазу призрачные силуэты. Лошадь жует.

Хотел бы снова запахнуть на себя полость, но в темноте, мешаясь с дождем, голос:

— Слышь, вылазь, барин.

— Что такое?

— Вылазь, рассказываю.

— Да ты с ума спятил!

— Не, зачем, а только вылазь.

— Я тебе такого дам «вылазь», что своих не узнаешь.

— Ничаво, вылазь. Выкладывай денежки-то, чтоб не лазить по тебе.

Седок почувствовал, как сверху донизу прошел озноб, и запрыгали зубы, мелко постукивая. И проговорил разом поласковевшим голосом:

— Ну, чудак... выдумал... пошутил и будет...

— Какие шутки...

— Будет. Теперь и шутить не позволяют... А то ведь за это, брат, тоже бывает... на каторгу, а то и хуже... Каждый, вон, день в газетах...

— Даром. Вылазь. Об чем толковать? Кокну — и все. Не на повозке ж тебя...

— Фу... чудак... ну что... ведь не скроешься... найдут, схватят... острог... виселица.

— Вылазь, вылазь, будет тебе зубы тачать... Оттяну от дороги в овражек... Дожди, слякоть, всякой по дороге тянется... К весне волки растаскают... Одно слово, отвез на вокзал, и шабаш. Мое дело — сторона... Вылазь!

Спазма теснит горло. И не столько ужас в том, что смерть подошла, сколько в том, что пришла она со вшами, грязная, мокрая, вонючая, среди темноты и такая простая и ужасная в своей простоте.

— А-а-а-а...

И, как в сказке, заблестел, колеблясь и неровно мерцая, огонек, слышались сквозь дождь голоса и шлепающие, усталые по грязи шаги.

Барин закричал тонким заячьим голосом:

— Спаси-те!.. помоги-те!..

Но спокойно приближаются в темноте разрозненные шлепающие шаги, голоса и сквозь дождь прыгающий вверх и вниз, смутно блистающий огонек.

Потом огонек ложится, судорожно скользя, полосой по залитым водой колеям, по проступившим на секунду лужам, по которым вскакивают, золотясь и лопаясь, дождевые пузыри.

Из темноты выделилась конская голова, смутный силуэт всадника и две пешие угрюмые фигуры; и у одной из них опущенный в руке фонарь. Стоят.

С лошади:

— Что за люди?

Барин кричит высоким срывающимся голосом:

— Вот этот самый... Он!..

По странному побуждению, вместо ужаса, который только что пережил, кричит о другом:

— Не кормит скотину... стала... взялся везти, а теперь стоим посреди дороги...

С лошади повелительно:

— Посвети!..

Длинная полоса от фонаря скользнула по грязной дороге, по лужам, повозке, по кобыле, — кобыла оказалась пегая, — и, на секунду бросившись в степь и потонув в темноте, пробежала по усталым

черномазым лицам пришедших, по фигуре всадника, на котором шинель, шапка и винтовка за плечами.

— Взялся везти, и вот стоим часов пять...

— Ты что же это?!. —стражник едко выругался.

— Стали... по ступицу... зарезалась скотина... вишь дорога... — голос у мужичонка был всегдашний.

— А-а, стала!.. Корми!.. Корми!.. Корми!.. Корми!..

И в такт окрикам свистящие удары плети по живому телу. Мужичонко корчится под ними на повозке.

— Побойся бога!.. За что... ой!..

«Ага-га-га, так его, так!..» Он радуется, что мужичонка порют. Необходимо пороть не только за то, что заставил пережить ужас смерти, но, главное, что от него воняет, что он грязен, вшив, мямлит, двух слов связать не умеет.

— Будьте покойны, ваше благородие, довезет. С Кривой горы будете? У вас, стало быть, тройку угнали.

— У меня. А это кого препровождаете?

— Цыгане. На цыган подозрение, и гоним их.

Цыгане заговорили глухо и беспокойно:

— Нас знает вся деревня, кузница своя, постоянно народ, видят... месяц никуда не отлучались...

— Кто ж их знает, для порядку доставляем... Будьте спокойны, ваше благородие...

В темноте удаляющиеся шлепающие шаги, все слабее и слабее мерцающий огонек, пока не потух. Бормочет дождь. Из темноты добродушный голос:

— Просек клеенку, едят его мухи!..

Поскрипывают колеса, качается телега; слышно шлепанье кнута, и кто-то приговаривает:

— Но-о, милая!..

Долго...

Как птица, открывает барин удивленные глаза и тревожно-испуганно говорит:

— Что это?.. Что это?..

В темноте рассыпаны, как булабочные уколы, огни.

— Вокзал.

На коленях плескается лужа, ноги онемели.

«Откуда же лужа? Ведь я вылил ее? И отчего я не под полостью?.. Ведь мы стояли?.. Спросить разве: просечена клеенка?.. Э, да все равно...»

Колеса стучат по переезду. Вокзал освещен.

ПАРОВОЗ № 314 Б

На «Подсолнечной» стоял почтовый поезд.

Делать ему тут было нечего, почту, состоящую из тощей сумки, давно выгрузили; из деревеньки, серо раскинувшейся обвисшими соломенными крышами, в полутора верстах от станции, никто не садился, и все лениво тянули никому не нужную десятиминутную стоянку. Вагоны, пассажиры, лущившие семечки и выплевывавшие из окон, красная фуражка начальника на платформе, старый генерал в отставке, прогуливавшийся вдоль вагона первого класса, прихрамывая на подагрическую ногу с таким видом, как будто стоят для него, — все как бы говорило:

— Ну, что ж, подождать подождем... больше ждали, подождем...

К сдержанно шипящему паровозу подходят двое в засаленных картузах, в синих промасленных блузах, с запавшими рабочими щеками и темной от в'евшегося масла пыли и грязи кожей — один высокий, другой низенький.

— Никандру Алексеевичу наше вам почтение, — и приподняли картузы

Машинист, кряжистый, раздавшийся, как будто ему было тесно в маленькой железной будочке, хмурый, с лицом в складках изношенной дряблой кожи, тоже слегка подернутой налетом масла и копоти, ничего не сказал, отвернулся, взялся слегка дрожавшей рукой за кран, и паровоз, точно прорвавшись, с озлобленной радостью, дрожа от нетерпения, зашипел так оглушительно, кутаясь в облаках пара, что бродившие поодаль куры со всех ног пустились к деревне.

Как бы удовлетворившись этим бешеным, все покрывшим, переполнившим платформу шумом, рука повернула в другую сторону, и в мгновенно наступившей зияющей тишине, в которой точно поплыла вся платформа, издалека, с весенних, пахнущих, необ'ятно зеленеющих полей, где происходило свое, донеслось тоненькое испуганно-звонкое ржание отставшего жеребенка. Мать откликнулась коротко и спокойно. Тарахтели поскрипывавшие в осях и, должно быть, пахнувшие дегтем колеса.

Слесарь, переминаясь, сдвинул картуз на затылок, потом ссунул опять на лоб.

— К вашей милости, Никандр Алексеевич.

— Да это ты, Иван?

Хмурые, отвыкшие улыбаться складки поношенной кожи снисходительно шевельнулись.

— Я же, я; я и есть, это — товарищ, токарь.

— Откуда?

— Да грешным делом на праздничек урвались в деревню. Сами знаете... Опять же в конторе печенег народ, билета, удавятся, не дадут... Сами ездют бес-

перечь, а для нас, так как родить им. Сделайте милость, возьмите.

Машинист достал бумажный портсигар, нежно взял папиросу большим и мизинцем, обмял, закурил и стал пускать дым, глядя на кончик носа.

— Кабы не срочно, а то срочно; безотлагательно в депо кончить работу ко вторнику.

— Главное, срочно, — неожиданно тонким голосом, так не шедшим к его тощей длинной фигуре, неизвестно чему засмеялся токарь, с побежавшими вокруг глаз лучинками, и сразу опять стал серьезным, глядя в сторону, точно его все это вовсе не касалось, длинный, серьезный, с потухшими лучинками.

Помощник машиниста, молодой, широкоплечий, с впалою грудью и такими же впалыми, густо занесенными угольной пылью щеками, повернувшись спиной, точно молча осуждал весь этот разговор, неодобрительно лил из длинной лейки масло в парившие тонко таявшим паром сочленения паровоза.

— Штрафуют нас, — хмуро выронил машинист и густо выпустил дым, скупаясь на лишнее слово.

— Сделайте милость... Кабы не к сроку...

— Главное, к сроку, — засмеялся длинный с засветившимися лучинками и замолчал, и лицо опять стало длинное, костлявое, лошадиное.

— В поезде что же?

— Контро-оль! Спрашивали обера. Сами бегают, не знают, куда зайцев девать... Одного положили на скамейке, накрыли одеялом и велели сесть мужикам... Ну, он лежал, лежал, упарился, да как заревет боровом

на весь поезд, публика с испуга кто куда... смеху было...

Отчетливо трижды медно ударил колокол. Засвистел обер-кондукторский свисток. Платформа опустела, только краснела шапка. Паровоз густым, низким голосом отозвался.

— Никандр Алексеич... кабы не срочно... срочно... будьте добры... мастер-то главный — собака, бесприменно к штрафу...

Он торопливо спешил выложить, чтобы поспеть, пока не ушел паровоз, все слова.

— Ну, лезьте... да зайдите с другой стороны, чтоб не видать.

Они торопливо, искоса взглянув на красневшую издали шапку начальника, обежали широкую, приготовившуюся к бегу, от которой несло жаром, грудь паровоза и торопливо, цепляясь, как обезьяны, забрались на площадку.

В мгновенно наступившей тишине паровоз тронул, густо с металлическим выдохом дохнул клубком белого пара и двинулся, со скрежетом раздвигая под ногами железо площадки. Побежала платформа, побежала назад земля, сбегавшиеся в одну пару рельсы; но далекие зеленеющие поля на краю под самым небом бежали вперед. Уже ветер побежал навстречу. Уже шпалы безумно неслись под ненасытно пожиравший их паровоз.

Неукротимый, перепутанный хаотически, клокочущий железный грохот тяжело метался, не отставая, над

паровозом, то больно выделяясь в ушах отчетливым клеточным колес, то потрясая мозг, слух, задыхающуюся грудь лязгом сотен тысяч железных пудов.

На площадке было тесно, жарко, грязно от угля, крутились вихри вырывавшейся из-под колес пыли, и люди, и железо, и уголь шатались, кидаемые из стороны в сторону.

Слесарь и токарь, оглушенные, с усилием удерживая под ногами со скрежетом ходившую площадку, цепко держались, прижимаясь к стенкам, все боясь помешать.

Машинист бегло глянул на водомерную трубку:

— Качайте, — и, выставив слегка голову под бешено несущийся навстречу воздух, глянул вдоль пути.

На секунду мелькнуло привычное: бесконечно вытянувшиеся по нити чернеющие рельсы, и все, что несло вдоль них — березки, столбы, овраги, дальние поля, все издали бежало медленно, но чем ближе, быстрее, быстрее, быстрее, в шумящем разорванном воздухе проносясь у паровоза, как и пожираемые им, сливающиеся в мелькании шпалы.

Машинист, все такой же хмурый, проговорил:

— У вашего деповского начальника, говорят, жена сбежала.

Но в железной будочке, ни на секунду не слабея, с искаженной злобой, все покрывая, бешено метался грохот, и слесарь и токарь только видели, как шевелились под усами у машиниста губы.

— Ась?

Помощник сильными молодыми размашистыми движениями глубоко забирал железной лопатой уголь и кидал в разинутую топку, нестерпимо обдававшую ослепительным жаром и людей и железо.

Слесарь и токарь все жались и сторонились, но податься было некуда, и перед глазами шли красные круги.

Помощник сразмаху захлопнул загремевшую мгновенно, потушившую красный блеск, дверцу, и люди легче вздохнули. Грохот метался.

— Тепло, — проговорил слесарь, чтоб поддержать разговор, но и сам не слышал своего голоса, — тепло, говорю, у вас, — закричал он диким голосом, поглядывая на всех.

Ему не ответили.

Помощник отирал с ставшего пепельным лица крупные капли пота, размазывая уголь, грязь и масло.

— Соблаговолите? — и слесарь осторожно потянул из кармана и, спохватившись, что не слышит своего голоса, опять закричал диким и заискивающим голосом: — Соблаговолите, Никандр Алексеич? — и снова потянул; из кармана полезло горлышко с красной печатью сверху.

Машинист бегло взглянул на манометр, на водомерную трубку, присел на крошечную откидную железную лавочку и закрыл глаза. Складки кожи на лице еще больше собрались, голова свесилась, и все осунувшееся тело слегка покачивалось от хода машины.

Помощник, наклонившись в окошечко, глядел на несшийся навстречу путь, и волосы на голове буйно рвались и трепетали.

Слесарь держал бутылку, протянув машинисту, недоумевая и находя неловким начинать без хозяина. Ему казалось, сквозь мечущийся грохот и гул он слышит, как тот подсвистывает мирно носом. Оглянулся на товарища, — тот так же покачивался, держась за скобку с своим полуудивленным длинным лицом, думающим о своем.

Слесарь крикнул, хлопнул снизу ладонью — выскочила пробка. Запрокинув голову, торопливо проглотил несколько глотков.

— Угощайтесь, пожалуйста.

Но помощник попрежнему не оборачивался, и встречный ветер трепал его волосы.

Слесарь забывал и о грохоте, и о движении шатающегося паровоза, и только когда подымал глаза, поля летели мимо, и когда говорил, не слышал своего голоса.

Длинный тоже глотнул неуклюже и, играя кадыком, запрокинул голову.

— Вон рассказываете, у деповского жена сбежала. Да у меня у самого сбежала! — проговорил он, отдавая бутылку, и вдруг засмеялся, но сейчас же лицо опять стало лошадиным и длинным, а глаза красные и беспокойные.

Машинист открыл глаза, хмуро глянул на бегущий путь, как будто хотел сказать: «знаю, знаю... как раз то, что нужно» — и отер лицо, точно снимая пау-

тину усталости после минутной дрёмы, и складки лица чуть-чуть разгладились.

— Ну-ну, давай, что ли, — протянул он слегка дрожавшую руку.

— Соснули трошки, Никандра Алексеич? — и слесарь услужливо подал бутылку, достал из кармана и положил на бумажку соленый огурец.

— Да ведь по-лошадиному... разве это служба! — злобно играя мускулами черных от сажи щек, проговорил помощник, — девятнадцать часов с паровоза не слезает... и почти что каждый день так.

Слесарь вдруг открыл секрет: не надо напрягаться и кричать в этом без устали дико-мечущемся грохоте, а только смотреть на лицо и губы говорящего — и схватывать с полуслова. Оттого машинист с помощником так странно спокойно, не торопясь, разговаривают.

— Да, вот как женишься, да будет дочь в гимназии, будешь и по двадцать девять не слезать с паровоза.

Но помощник, словно не желая продолжать, снова с грохотом распахнул железную пасть, уронившую на всех красный отблеск сжигающего жара, и стал напряженно кидать уголь, роняя с побледневшего лба капли пота.

— Убежала!.. Что ни делал, бил, вязал, за волосы возил по полу, — ни-и-чего; как будто не ее... опять возьмет и убежит...

Лошадиное лицо с тоской, с болью и изумлением обернулось и посмотрело на всех.

— Домик у вас на Воскресенской? — проговорил слесарь, хрустя откушенным огурцом и чувствуя, как в грохоте, в гуле, с лицом, окрашенным, отблеском палящего жара, машинист спокойно и вкусно хрустит. — Под железной крышей, хороший домик.

— Вот он у меня где, этот домик, — машинист хлопнул себя по шее, — для него и живу, для него с паровоза не слезаю. Вон руки у меня уж трясутся, а мне всего сорок второй. Годов пять подержут, а там скажут: до свиданья, слезай, наездился, а дом-то заложен.

— И бил, и за волосья таскал — ни-и-чего!..

— Разве дома для нашего брата?.. Дома для нашего брата—камень и смерть.— Помощник, только что с железным стуком потушивший палящий жар захлопнувшейся топки, злобно запрокинул голову и жадно глотнул водки.—Наш брат должен быть вольный, как ветер в поле, куда хочешь, вот!.. А то — до-ом, гимназия!.. А почему?

Точно во всем был виноват слесарь, помощник повернулся к нему худым, с втянутыми щеками, постарелым лицом, нарочно, чтобы подчеркнуть его виновность, не закусывая после горькой водки и глядя злыми глазами.

И слесарь повинился и, сделав заискивающее лицо, проговорил:

— Действительно.

Должно быть, смягчил. У помощника лицо снова стало молодым, и было видно, что оно голое и безусое; что-то мягко прошло по нему, точно сняло нагар, копоть

и грязь, и глаза влажно подернулись ласковостью и грустью.

— На Пасху прихожу в церковь, — он глядел куда-то мимо слесаря, — а она вся в белом, цветы в волосах, тоненькая, как хворостинка... Я стою... пиджак на мне — коробом, цельную неделю мылся, не мог морду оттереть, в'елось все... стою и не знаю, не то на алтарь молиться, не то на нее... А около нее гимназисты, студенты... куда уж нам!..

В первый раз за все время неподвижные складки каменного лица машиниста тронула улыбка, и оно стало иным, точно мягко глянул другой человек.

— Дочка — ничего, дай бог всякому... хоть в генеральский дом, не побрезгают...

Лицо помощника исказилось злой судорогой и опять постарело залегшей между искривленными бровями складкой.

— Думаете, долго вас железная дорога продержит? — руки вон трясутся... Выкинут, не беспокойтесь, а тогда ей... — и он закричал визгливо сорвавшимся голосом, — в проститутки?!.

Машинист грузно, как каменный, пошатнувшись, поднялся:

— Нину!!.. т-ты!!.

Помощник на секунду закрыл ладонью глаза, потом схватил бутылку и быстро и жадно, запрокинувшись, сделал три огромных глотка.

Слесарь сидел согнувшись. Холодный, пробирающий страх охватывал, покалывая в пальцы. Как будто в первый раз увидел, что все пьют водку, что

никто не смотрит на несущийся навстречу путь, что машина в грохоте, в дыму несется слепая, ничего не видя, безумная.

Мелькают поля, проносятся березки, телеграфные столбы, а тут пьют и закусывают, как будто забыли о мелькающих навстречу рельсах, и сквозь грохот и мелькание слышится торопливое и предостерегающее: «клы-клы-клы!..» — голос сотни колес, которые неустанно и торопливо твердят позади:

— Мы за вами... мы за вами... клы-клы-клы-клы... — покорно и все одинаково.

Слесарь ненужно щупает вокруг себя как будто побелевшими глазами, хочет побольше вдохнуть, но не может и, хоть в чем-нибудь стараясь найти выход и смягчить положение, говорит, заикаясь:

— Она сама... то-есть, знает дорогу... машина-то...

— А-а... чорт с ними... — и помощник злобно отмахнулся от кого-то рукой.

Тут, в виду этих спокойных каменно-темных лиц, в виду этой непрерывной, дьявольски-грохочущей, пышущей жаром работы, слесарь забывает про угрожающую ему самому опасность. Леденящий холод заливает мозг, когда он прислушивается: «клы-клы-клы»... Полтысячи человек назади спокойно сидят, лежат, разговаривают, спят, смеются, ни о чем не думая, ничего не подозревая, а тут, шатаясь от безумной силы, оставляя после себя разорванный грохот и дым, несется машина, молниеносно работая сочленениями, несется слепая, темная, невидящая. — Выпивают, закусывают огурцами... клы-клы-клы-клы... Несется к ка-

кому-то темному, немому, черноразинутому оврагу, который жадно бежит перед самыми передними колесами, постоянно убегая, и о котором непрерывно твердит сотня покорно бегущих позади колес: клы-клы-клы!..

— Вон в прошлом году в разлив около реки пассажирский поезд на всем ходу, — впалое лицо помощника опять постарело искривленной складкой между бровями, — рельс и разошелся, поезд по уклону и пошел в воду. Машинист, молодой парень — ему бы соскочить — уцепился, стал тормозить. Паровоз все глубже в воду, а он тормозит, да пар выпускает, чтоб не взорвало. Ну, остановил. Вагоны все целы, никто из пассажиров шишки не набил, а он очутился по горло в воде. Кричит. Ноги-то ему в воде тендером прижало. Ухватился за скобку, выставил голову; устанет, начнет опускаться, захлебывается, опять подтянется из последнего, выставит рот над водой, только слышно: «братцы!.. братцы!..» А эти братцы спешат, выволакивают багаж, вещи из вагонов, дамы кричат: «дети простудятся, дети»... кутают их, а тот дурак все свое: «братцы, братцы!» Рабочие рассказывали, которых вызвали со станции, слеза прошибла. Под конец кричать перестал, выглянет из воды, только глаза одни, полные смерти, и опять скроется. Ну, что ж, на другой день достали, синий весь...

Он замолчал, не то мгновенный грохот пробежавшего под колесами мостика прервал.

— Да ты бы, говорю, пеленочки постирала, да хату бы подмела, да вечерять бы приготовила — зна-

ешь, муж с работы вернется, с устатку поесть захочет, и все хорошо, и славно, а она убежит!.. — и смотрят удивленные, растерянные глаза, — так просто хорошо и счастливо можно устроить жизнь, и все так бессмысленно, ненужно, тяжело и трудно.

— Молодую взял, другую, для детей... девять человек их у него от первой жены, — пояснил слесарь, все так же с'ежившись, так же каждую секунду ожидая какого-то потрясающего грохочущего удара и несчастья.

Клы-клы-клы-клы...

— Дети простудятся... Так бы иной и пустил их всех под откос или с моста...

Помощник прибавил грубое ругательство и стал кидать в заблиставшую топку уголь.

Тесно, узко и душно на крохотной со скрежетом то сдвигающейся, то раздвигающейся железной площадке, но просторно для усталости и измученности, и, казалось, еще хватит места, для горя и тоски — потеснится все заполняющий грохот.

Клы-клы-клы-клы... клы-клы-клы-клы...

Слесарь чувствует — измучился, истомился этим непотухающим ожиданием.

— Нет, у нас в депе лучше, — говорит он с извиняющейся улыбкой, — отработался, да и домой.

Машинист и помощник разом, как по команде, подымаются и глядят с обеих сторон в оконца.

— Я те... я те... а... эт... ваа...

Но несущийся навстречу ураган срывает и уносит слова, которые не разберешь, только видно, как грозит

кому-то черным кулаком машинист, уносит и незакрытый переезд, и закинувшуюся от испуга лошадь, накренившуюся телегу, и на секунду мелькнувшую виноватую фигуру путевого сторожа.

И опять тот же грохот, тот же скрежет железной, ходящей под ногами, площадки, так же тесно, грязно, удушливо, и пышет жаром, и кидает из стороны в сторону, и все дрожит и трясется безумной тряской неперестающего бега, и несется мимо ураган.

— Клы-клы-клы... клы-клы-клы...

Но теперь голос сотни бегущих позади колес клочечет спокойно, уверенно и покорно. Разинутый черный овраг пропал. Глубокий покой и уверенность разливаются по измученной, истомившейся ожиданием душе слесаря. То, что оба они, и машинист, и помощник, разом, не глядя на путь, поднялись именно там, где нужно, точно камень свалило. Слесарь почувствовал: за беззаботностью и равнодушием этих хмурых неподвижно-каменных лиц живет постоянное, ни на секунду не потухающее напряжение, от которого без усов приходит старость, и в сорок два года трясутся руки, и человек — развалина.

Клы-клы-клы-клы!.. Ничего, машина знает свое, и люди знают свое...

Где-то в темной глубине их души неосознанно, вместе с бегом машины, ни на секунду не потухая, бежит навстречу полотно со всеми знаками, закруглениями, уклонами, будками, столбами. Даже сон весь наполнен этим неукротимым бегом и мельканием.

С обеих сторон проносятся широкие поля, сверкающий воздух, деревни, люди, животные, птицы и звуки со своей особенной ласковой неспешной жизнью, а эти двое с хмуро-темными лицами ничего не видят, не слышат и живут в тесной, узенькой, душной будочке, в урагане крутящейся пыли, жара и грохота, в непрерывном мелькании, непрерывном скрытом напряжении, что бы они ни делали; и так сутки, недели, годы: так вся жизнь, будто нет другой жизни.

Клы-клы-клы-клы...

Машинист то взглядывал на несущийся путь, то на водомерную трубку, то присаживался и на минуту заводил глаза, узким белком глядя из-под незакрывшего века.

Помощник кидал уголь, качал воду, тоже взглядывал на беспрерывно пропадающие под паровозом рельсы, присаживался к бутылке, и, шатаясь и кутаясь в грохоте, неслась слепая машина.

Слесаря стало одолевать. Сидит он на корточках, тесно и неудобно, и вдруг все поплывет мягко и грустно, и мучительно хочется лечь и опустить голову, и где-то далеко, далеко слабо и ласково бежит замирающий клетот колес: клы-клы-клы-клы...

И вскинется:

— А?..

Тот же грохот, и теснота, и буйно кружится угольная пыль.

Слесарь встряхивает головой, избавляясь от дремоты, взглядывает на пустую бутылку и говорит, ухмыляясь:

— Еще есть... запас, — лезет в карман, и оттуда неспеша вылезает горлышко с красной печатью.

— Будет, — хмуро говорит машинист.

Слесарю хочется сделать или сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что взяли, и еще за то, что освободили от давящего ожидания и страха.

— Вам бы, Никандра Алексеич, какую ни то другую работу взять. Чижало уж очень тут. Вон, надысь купец Корытин искал машиниста — мельница у него паровая. И жалованье хо...

Осекся. Машинист странно задвигался, и сквозь неподвижно-пепельные черты тяжело пробивалось волнение.

— Будет те молоть-то... балабола... дай-кось сюда.

Взял бутылку и проглотил много, как воду. Смутный румянец лег на пепельную кожу. Он передохнул и, как бы вдавливая воспоминания назад, крепко и широко потер лоб.

— Нельзя мне... нельзя мне, — заговорил он, подавшись, — не могу бросить... Вот в этом самом... в этом самом паровозе человека я сварил!..

Он поглядел вокруг себя, точно ища чего-то, и все так же тяжело и сдерживаясь дыша.

Слесарь не умел, как ответить, крикнул и тоже потянул из бутылки.

— В депо поставили паровоз в ремонт... Слесарь был, вот так, как ты...

— Ну, так... понимаю... — слесарь утвердительно мотнул головой.

— К Рождеству. Каждый старается загнать лишнюю копейчку.

— Известно, к празднику-то.

— Вот и он... работал день и ночь не в очередь... спал часа по два в сутки. Глянешь, а он белый, и ноги, как мочало. «Кончаю, говорит, Никандр Алексеевич», сам улыбается, устал, стало быть. Потом нету его, ну, думаем, ушел домой, кончил. Велел я помощнику воду пустить, затопить. Затопили. В депо стук, гром, разве слышно?..

— Где уж!..

— А он, слышь, залез в котел кончать да и уснул, устал...

Машинист глядел, раздув ноздри, трудно дыша.

— Гляди, бился, кричал, где уж слышать, — проговорил слесарь, чувствуя, как хмель слезает с него.

— Две недели в пути были, ходили с поездами. Баба его все в депо ходила, все слезы проплакала — нету мужа, куда ушел, никто не знает. Праздник прошел, а его нету. Ну, вернулись опять в депо, через две недели, выпустили воду, полезли в котел, а там... косточки бе-елые... одни косточки, ни мяса, ни одежи, ни глаз, ни хряща... бе-елые... одни косточки...

Он наклонился, дыша в самое лицо, глядя широкими неподвижными глазами.

Все четверо помолчали, нечего было прибавить, точно постояли над свежей могилой с непокрытыми головами; только грохочущий гул ревел и метался, куда попало, длинный, слепой и, должно быть, косматый, отпевая свою железную воющую панихиду, всегда

одну и ту же, такую простую и такую непонятную и загадочную людям, и сквозь него спокойно, уверенно и покорно:

Клы-клы-клы-клы...

Помощник, искоса и хмуро глянув на рассолодевшего, опустившегося, плескающего в дрожавшей руке водку машиниста, делал теперь сам все.

— Не уйду я отсюда... не уйду, покуда не прогонят, али голову сложу, не уйду от его могилки. Давали курьерский водить, да на другой паровоз надо, нет, не могу...

— Я то и говорю, то и говорю: убью без следа и следствия... камня на камне от башки твоей не оставлю..... ей-богу!

— Убьет!.. Он убьет, — такой!.. — подтвердил спокойно слесарь.

Поражая слух даже среда грохота несущегося поезда, заревел паровозный гудок. Помощник, глядя, наклонившись, в окно, тянул веревку, и белый пар клубками бурно рвался над свистком.

Загремели колеса на переходе, мелькнула стрелка, другая, проплыл семафор.

Машинист поднялся. Безразличное хмуро-равнодушное выражение село на серое лицо. Положил руку на регулятор, глядя на бегущую навстречу водокачку и платформу... станционное здание... красная шапка на платформе. Земля, вся запорошенная углем и исчерченная рельсами, шла мимо тише и тише. Вагоны, навалившись друг на друга, толкнулись, звеня буферами, — поезд стал...

Двое, тщательно спрятав пустые бутылки, слезли с паровоза.

— Покорно благодарим. Счастливо оставаться, Никандра Алексеич, — и пошли по путям, не оборачиваясь и о чем-то разговаривая.

Публика суежилась на платформе, потом успокоилась. Гуляли вдоль вагонов, иногда подходили к паровозу, глядели на его отдельные части и слушали, как, сдержанно подавляя бунтовавшие внутри силы, дышал. Глядели на этих спокойных с серыми равнодушно-каменными лицами людей, спокойно делавших в будочке что-то свое, важное и недоступное другим.

Впрочем, паровоз был, как все паровозы, и отличался только номером: 314 Б.

ЛЮБОВЬ

Я уже потерял счет усталым, одинаково тянувшимся во мгле ночным часам, таким похожим друг на друга, полным сырости и затаенного молчания.

Ноги месят скучную осеннюю невидимую грязь с тем длительным отчаянием, которое уже почти привычка, когда кругом ни огонька, ни зги.

Нужно пройти незамеченным еще верст шестьдесят до затерянной в степях железнодорожной станции, где знакомые, и откуда я поеду спокойно.

Меня всюду караулят. Днем далеко обхожу белеющие по балкам слободы и хутора, с мокрой соломой на крышах, с черными, взметенными копытами, улицами, с доносящимся из дали лаем, с облетевшими красновато-сквозящими садами.

Когда показывается на чернеющей вдали дороге конный, я сворачиваю в сторону, скользя и падая по мокрому, спускаюсь, в овражек или в балку, а наверху серое осеннее небо, летят скучные вороны, молчат черные поля.

А сейчас кругом непроглядная темь.

Ноги месят невидимую осеннюю грязь, и чмокают отяжелевшие, разбухшие сапоги.

Я знаю, кругом в темноте паханные пустые, размякшие от дождей, поля, низкое изрытое небо, невидимое, как и земля.

Уж не прислушиваюсь к собачьему лаю — в темноте лишь ветер поет, не задерживаю шага, когда едва различимый — близко это или далеко, не знаешь — чуть затеплится огонек и трепетно замирает во мгле,— все ночь, все сырость, все молчание и усталое чмокание разбухших сапог.

Такая усталость, такая крайняя физическая измученность, что тело отделяется от мыслей, от соображения, от горьких дум, от сменяющихся приливов бодрости и ровного, спокойного безнадежного чувства отчаяния и усталости.

Чье-то осунувшееся, на произвол судьбы оставленное тело качается в глубине беспредельной ночи, чьи-то ноги бесцельно месят грязь, странно не сбиваясь с невидимой дороги.

А в мыслях, отделившихся от этого молчания, от сырости, от качающегося в темноте по дороге тела плывут — то ласковая женская рука, то тихий огонек уюта; круглый стол, самовар, белеют клавиши открытого рояля. А за окнами чернота, мгла, сырость, насупившееся молчание осени...

«Отдохни, отдохни, милый... ты устал...»

«Да, я устал, я отдохну, и мне надоело тащиться так без конца».

И опять чувствую свое качающееся тело, и ноги, которые месят грязь, и сырость, и молчание. Похоже на то, что я упаду на вязкой дороге. Сил нет.

И, точно в сказке, густоту ночи проколол огонек. Подержался, погас. Все равно, я буду вытаскивать отяжелевшие, разбухшие сапоги и итти, и итти. Я знаю, это искорки, бегающие в глазах от усталости.

Опять загорелся и не погасал, и я боюсь опустить глаза, чтоб не потерять его, чтоб не исчез в океане мрака.

В темноте обрисовалось странной чернотой очертание, — дом ли, или человек гигантского роста, или дерево, и потом исчезло.

Может быть, туман проплыл, и встало видение. Огонек погас, снова загорелся. Я не спускаю глаз, чтоб не исчез.

Свет расплывается, ширится, четырехугольно удлиняется, и во мраке проступает светящееся окно с черными переплетами. Руки натыкаются на плетень. Сгущаясь чернотой, подымается дерево, роняя с молчаливых ветвей на меня капли. Откуда-то шум, ровный и смутный — без устали.

Две собаки нарушают мертвенность ночи живыми звуками отчаянного лая, — одна хриплым басом, другая протяжным воем, точно кто-то поет горловым тенором.

Вырезываясь другим светлым ушिरяющимся четырехугольником, отворяются двери, роняя по мокрой черной земле длинную светлую полосу. Она протягивается через двор, ломается на плетне, дробится в пересеченно проступивших из темноты ветвях.

В четырехугольнике — темная фигура погашает светлую полосу, и голос:

— Кто тут?

Через пять минут я — в комнате, и, как в сказке: круглый стол, белая скатерть, самовар с тонко клубящимся живым паром, лампа сверху освещает. Тихо, уютно, светло и тепло, а за окнами чернота молчаливой ночи, мгла и сырость.

Чего-то недостает? Оглядываюсь... Ах да, только клавиши не белеют.

Их двое.

Он небольшого роста с желтыми волосами, с постоянной улыбкой — себе на уме. Он не может говорить, не улыбаясь, и что-то всегда за этой улыбкой.

Она высокая, крепкая, плечистая, и... усы. Когда разливает чай, я вижу на белизне скатерти большие, грубые, мозолистые мужские руки. Да и вся она, точно мужчина по ошибке в юбке. В кружок, как у мужика, черные с протупившей сединой волосы, крепкий обветренный бас. Высокий мужской сильный лоб, уже прорезанный продольными складками прожитой жизни.

Я позваниваю ложечкой, подношу к губам стакан с янтарно-колеблющимся чаем, а она говорит крепким, в котором слышится и зной, и ветер полей, и сырость ненастья, рабочим баском.

— Это хорошо, что вы на нас набрали.

А он улыбается:

— Мы, как волки в степи, — ведь никого не видим.

Я рассказываю о себе — я им сразу верю — и вижу, как блестят глаза. Но я ведь ждал нежную белую

женскую руку... Вздор! Встряхиваю головой и говорю:

— Ваш огонек, как в пустыне изнемогающему путнику явился... Я сначала думал, что это блуждающий огонек, и закрыл глаза, чтоб не волноваться попусту, но он все светил и привел к вам.

Я говорю это, но что-то не то, что-то есть в этой светлой уютной комнате, в этом небольшом домике, в чем я еще не могу дать себе отчета.

Они говорят друг другу "вы", — Александр Егорыч, Екатерина Павловна. И это мне нравится, — обыкновенно супруги говорят вы, когда собираются ругаться.

— Шум? Так это мельница водяная, мы снимаем в аренду. Вы, значит, речку не переходили? Со стороны степи шли? Мы ведь здесь двадцать лет живем безвыездно.

Старые-престарые часы на стене бьют одиннадцать.

— С мужиками сносно живем. Когда приехали, трудно было. На нас смотрели, как на белоручек, но когда увидели, что стали работать так же, как они, примирились. Вы поживете у нас с недельку, отдохнете, осмотритесь. С полицией у нас хорошие отношения.

— Расскажите же, что на белом свете делается, — говорит он и улыбается, и за улыбкой что-то свое, тоже как будто улыбающееся, а волосы у него большие, желтые.

— Газеты мы получаем, но ведь это мертвое. А жизнь-то как там? Все, наверное, страшно изменилось, и не узнаешь.

Двенадцать. Самовар то совсем засыпает, то сонно мурлычет, прерывисто и тоненько, как будто ослабел и с усилием заводит веки. У меня тоже слипаются глаза, лица делаются маленькими, куда-то уходят, голоса звучат издалека, радужный туман, и вдруг опять все близко, ясно, освещено. В окнах угрюмая мгла.

«У них нет детей. Нет детей, — это звучит безнадежно».

— Конечно, когда вы идете по деревням, — слышится ее энергичный басок, — когда приходите к мужику с словом живым, это — одно, а когда живете среди них, как мужик, так же боретесь, как он, так же конкурируете, это совсем другое, и все иллюзии разлетаются.

Я не возражаю, ибо понимаю, у них — все в прошлом. Вот теперь выспаться бы только, а то боюсь, свалюсь со стула. Да ведь неизвестно, что и в моем будущем. Оно темно, как эта мгла в неподвижных окнах. И если молодому — помните у Гоголя? — дать заглянуть в темно-ждущее его, он отпрянет...

Я борюсь со сном, борюсь с чем-то неопределенным, что я не могу определить в этой уютной, освещенной с умирающим самоваром комнате, в которой, должно быть, нет женщины, а я и еще двое мужчин.

— Вы крепко устали, вижу. Александр Егорыч, я приготовила постель гостю. Подите, покажите. Спокойной ночи. Желаю вам отоспаться, отдохнуть. Я очень рада, что вы набрали на нас. Вам тут будет покойно. Спокойной ночи.

Мою руку жмет грубоватая широкая мозолистая, мужская рука, и глядят из-под густых сдвинутых бровей внимательные умные, сразу дающие вам оценку, ласковые глаза. Черные усы приветливо шевелятся с улыбкой.

Почему женщина не имеет права походить на мужчину? В чем тут преступление?

Сон, как мглой, наплывает, сразу стараясь мохнато, мягко, неотвратно охватить всего, но я борюсь, приоткрываю глаза, чтобы хоть на секунду насладиться холодком чистой безупречной белизны простыни, подушки, и взглядываю в окно на черно, неподвижно глядящую ночь — вот, мол!..

И уже сон торопливо ткет свою неощутимо-мягкую паутину в темнеющем сознании.

*

Кто-то закричал: «Караул... держите!..» И в противоположность тому, что только что было, комната заполнилась ослепительно-раздражающим сквозь красноватый отсвет век.

А я умоляюще:

«Нет, еще минуточку, еще одну!..» — и шел ко дну, отдаваясь темному забвению и покою.

Но опять закричали: «Караул!..» — и все то же бьет ослепительно-раздражающее сквозь болезненно и чутко вздрагивающие веки. С отчаянием отрываясь от сладкого покоя, открывая глаза, торопливо сажусь на постель.

Веселая комната, как неудержимым смехом, вся залита ярко ворвавшимся утренним солнцем. Под окном орет петух. А в окна уж никто не глядит угрюмо черным глазом — все бело играющим под солнцем инеем, точно все весело поседело за ночь, и двор, и плетни, и неподвижные ветви, и степь, далеко за двором подымающаяся ленивым изволоком, а по гребню узенькой сверкающей полоской недвижно лежат ослепительно белые рыхлые облака, словно тоже заиндедевшие в прозрачно-сверкающем свежем воздухе.

— Ах, да ведь я вот где!..

Торопливо соскакиваю, одеваюсь, умываюсь. Где-то далеко в прошлом темная вязкая дорога, угрюмая ночь, мгла, и сырость, и подкашивающая усталость. По полу играют зайчики от колеблющейся в чашке воды.

Прохожу в столовую, она еще веселей. На круглом ослепительно-белом столе — веселый, мурлыкающий в облаках пара самовар; он тоже играет на солнце выщипанными боками. Больно сверкают стаканы.

Никого нет. Надеваю шапку, выхожу. Приятно пощипывает утренний, пропитанный первым легким морозцем, воздух. Небо свежо голубеет. По взгорью всползает вчерашняя черная дорога с окаменелой взвращенной грязью. Должно быть, к утру вызвездило, проступил морозец и сделал грязь крепкой.

Двор огромный. По краям — сараи, навесы для скота, крытые соломой, как это делают в степи, арбы, плуги, как у зажиточного мужика.

Хозяйка в высоких сапогах, короткой юбке, мужской теплой шапке гоняет лошадей с катками по раз-

бросанной соломе, и катки звонко бьют каменными ребрами по морозной земле, выбивая из колоса зерно.

Ее движения крепки, уверенны, размашисты.

— Но, но, милые!

За голыми ветлами сквозит крыша мельницы. Оттуда несетя колеблющийся, как бегущая вода, однотонный, как мелькающий жернов шум.

— Доброе утро.

— Вы уже встали? — Пойдемте чай пить.

Она останавливает лошадей, и мы идем в дом. Отовсюду веет крепким, налаженным хозяйственным укладом.

К чаю приходит хозяин. Он весь белый, мука в ресницах, в усах, в волосах, на лице. Возился на мельнице и улыбается, и за его улыбкой что-то не договоренное, что — я не могу определить.

Меня снова засыпают вопросами о той живой жизни, что бьется там, в городах, среди людей.

— Кто это такое? — гляжу я на портрет в рамке на стене.

Девушка с продолговатым крепким умным лицом. Удивительно красивые, глубокие, влекущие глаза смотрят, покоряя, из-под ровно сдвинутых бровей.

— Разве не узнаете?.. Я.

Так вот что!

Какая-то боль, сожаление сжимают сердце. Вот что!.. Точно что-то осталось позади и уже пропадает в дымке быстро бегущего прошлого.

— Знаете ли, — говорит хозяин; голос у него тонкий и имеет некую связь с его постоянной улыб-

кой, — мы живем, как в густых зарослях, вот как бывает у нас по речке, кругом камыш да ивняк, а подымешь голову, только кусочек синего неба. А вам сверху, оттуда, из центров, далеко видно, все видно, как на ладони, всю жизнь видно. Скажите же, куда все идет, чего можно ждать?

— Вы ошибаетесь, оттуда видны лишь общие очертания картин жизни, структуры жизни мы не видим; жизнь у вас делается в зарослях. Вот расскажите, о чем думает мужик, каков он стал, чего можно ждать от него.

— А-а, что мужик!..

Улыбка разом сбежала с его лица, и легла складка не то усилия что-то вспомнить, не то сдерживаемого раздражения.

— Во-первых, существует два мужика: один мужик, который в книге, с которым встречаешься на университетской скамье, а другой, который копается на пашне, пухнет с голоду, добывается земли, живет под вечным страхом станового, исправника, земского, — мужик, с которым приходится жить и работать о бок вот таким, как мы. Об этом мужике ничего нельзя сказать, с ним можно жить. Его нельзя понять, передать, его можно почувствовать.

— Тут есть и доля правды и преувеличение, — мне стало скучно.

В окно глядела степь, все так же взбираясь на изволок, теперь черная, с прошлогодним чернобылом по межам, иней уже стаял. Из-за гребня выбирались серые осенние облака.

Перед обедом пошли осматривать мельницу. Она дрожала непрерывной дрожью, воздух белел тонкой мучной пылью, но не было оглушительного, все покрывающего грохота, а бежал сдержанный, уверенный, дававший возможность говорить шум. Не было колес, а вода, крутясь воронкой, проваливалась в какую-то дыру.

Мужики, встречаясь, здоровались с Александром Егоровичем доброжелательно, как со своим же братом-мужиком, которому только посчастливилось.

— Как же это она у вас без колес работает?

Он радостно и благодарно улыбнулся, повел и стал объяснять, как человек, заговоривший о своем любимом детище. Вместо колес он поставил турбины. Но обыкновенные турбины, металлические, — очень дороги и сложны, и он придумал свои, деревянные — просто, дешево и сердито.

— А это — мельник, мой товарищ и помощник.

В полутемноте дрожавшего амбара между гудевшими жерновами на меня глянуло занесенное, как снегом, мукой лицо со слегка пробивающейся бородкой.— Доброго здоровья.

Хозяин усмехнулся.

— Вот вы его расспросите про историю с котом. Мельник, как бы говоря своим добродушным, белым от муки, лицом «ну что ж!» делал свое.

— Кот тут был у нас, громадный, серый, — и в глазах хозяина бегали веселые огоньки, — так вот этого кота недели две назад Иван поманил, взял на руки, кликнул собак и отправился в пустой амбар, поглаживая. А собаки у нас громадные, звери. Вско-

чили собаки в амбар, он поднял кота и бросил среди них. Те кинулись, в клочки бы его разнесли, коту некуда выскочить, смерть. Он мгновенно вскочил на Иванову голову, запустил ему в кожу когти по самую шерсть, наершинился весь, как дикобраз, и ворчит. У Ивана с головы кровь ручьем бежит по лицу, по щекам на шею. Собаки взбесились, прыгают на него, хватают за лицо, хотят кота стащить. Иван в ужасе от них отбивается, вскочил и пустился, собаки за ним, а коту удобно на голове и держится за кожу. Вскочил в избу, захлопнул дверь. Погладил кота; тот вынул когти из кожи.

А Иван осторожно положил на дровосеку и с визгом отрубил топором ему голову.

Он засмеялся. Жернов, смоловший зерно, скрежеща и повизгивая, вертелся на голом камне.

— Я знаю, что вы думаете. Но этот же самый Иван в мороз... У бабки, — старуха тут есть безродная, — лошадь провалилась в полыню, — бросился в воду и бился, пока не вытащил. Четыре недели валялся между жизнью и смертью. Да.

Он посмотрел в двери, в которых тонко колебалась мучная пыль и открывался пруд, а на нем, как разбросанный пух, белели гуси, и по плотине свешивались безлистые вербы.

— Он — мужичок, из нашей слободы, — и глянул на меня, смеясь одними глазами.

Я понимал, что все это значит, и вышел, чтобы прекратить разговор. Пруд, изгибаясь, пропадал за поросшими красноватым тальником берегами. Сквозь голые деревья белели хаты слободы.

Вечером лампа горела над столом, и все на столе, на полу, внизу стен было освещено, а потолок, карточки на стенах, лица — в тени, только над лампой колеблется и дрожит непрерывным колебанием светлый кружок.

Екатерина Павловна ходит из угла в угол по странно освещенной комнате большими мужскими шагами, в больших мужских, стучащих сапогах, заложив руки, опустив голову, думая, и у нее — усы.

Я сижу и думаю о девушке с продолговатым крепким умным лицом. Она — красавица, той особенной внутренней красотой, которая не в румянце, не в локонах, а в сквозящей в каждой черте внутренней силе, которая обдает вас, покоряя. Вот такая девушка умеет заставить идти за собой толпу, заставить делать то, что считает нужным.

По комнате, заложив руки, нагнув голову, ходит большими шагами мужчина в юбке.

Александр Егорыч уехал на ярмарку покупать жернова. Когда прислушаешься, за стенами все тот же неумолкаемый мельничный шум.

— Но не в этом ужас надвигающейся расплаты. Не в этом. Что жизнь!.. Я готова хоть сейчас умереть... Не в этом.

И все те же большие шаги в мужских сапогах, так же заложены руки, низко опущена голова, и тень липуче и неотступно следует за ней да угла до угла.

Я сутки тут, но я знаю уже всю их жизнь, как будто-то пробыл здесь все эти двадцать лет.

Она говорит отрывисто, коротко, но в обрывках слов, внешне не связанных, оборванных — все, вся жизнь, все дни, все горе, все пережитое, вся безнадежность.

Дочь губернатора. Няньки, бонны, гувернантки, ли-
вреи, шумные суетливые дни, ярко освещенные ночи,
балы, маскарады и пряная атмосфера утонченной свет-
скости. Надо было медленно выбиваться из закол-
дованного круга, из ослепляющей отравы. И она вы-
билась, и, может быть, оттого такое крепкое, ум-
ное лицо.

— Нас было много братьев и сестер. Уже тогда, в детстве, я не знаю откуда, вырабатывалось насмешливое отношение к чопорности и великолепию губернаторской жизни. Помню, являются на Рождество к отцу визитеры, — мундиры, фраки, декольте, шлейфы. А мы поймаем болонку — у матери болонка была — помажем ей под хвостом горчицей, посадим на пол—а полы блестящие, скользкие — и пустим из дверей столовой. И она, повизгивая, едет через всю амфиладу комнат, стараясь стереть горчицу, едет на задку через весь зал к величайшему ужасу матери и дам, которые особенно усиленно начинают говорить, чтобы замаскировать скривовать неприличие. А мы таким же образом пускаем кота, а за ним небольшого пуделя, и они едут друг за другом. В детской у нас хохот, неистовство. Бегут няньки, бонны, гувернантки...

Она хохочет заразительно, подмываяще, и я не удерживаюсь и смеюсь. Должно быть, так смеялась девушка с умным, крепким лицом и подчиняющими

всех глазами. И теперь, когда смех разлился по ее лицу, глаза напоминают глаза на портрете.

И опять ходит, заложив руки, нагнув голову. В освещенной снизу комнате большие шаги, да тень крадется сзади из угла до угла, да на темном потолке колеблющийся, дрожащий светлый кружок.

— Два года была учительницей народной. Чудесное было время. Ведь я в первый раз увидела мужика, бабу, настоящего мужика, настоящую бабу. Я рвалась, чтоб внести луч в темное царство, чтоб хоть капельку облегчить сочащуюся народную рану. И как всегда бывает, увидела, что прежде развязать надо опутанный народ...

Началась кипучая жизнь, полная опасностей, напряжения, ежеминутного ожидания гибели. Но смелая молодость беззаботна, и когда ночью склоняла на подушку усталую голову, детский беспечно-беззаботный сон охватывал.

В это время познакомилась с Александром Егоровичем. Среди молодежи ничем он не выделялся, был молчалив. Но чем поражал, это — изумительным хладнокровием. На самое опасное дело шел, тихий, скромный, задумчивый, и, главное, чувствовалось, в это время думал о чем-то о своем, к предстоящему делу не относящемся. Может быть, поэтому, может быть, этот фанатизм делал удивительно счастливым всякое предприятие, и он из огня, из полымя, когда все ставили над ним крест, выходил здоров и невредим.

Он в свою очередь поклонялся этой стройной, сильной девушке, приказания которой исполнялись всеми

беспрекословно. Почему? Он не знал. Но он и себя отдавал в ее полное распоряжение, чувствуя постепенно, как разгорается тяжелый багровый, все сожигающий пожар душевный. Он никому ни слова не говорил, но все знали, что он надо всем поставил крест, все отдал этой девушке, — потерял цели жизни, одна она.

А она, как королева, скользила мимо этого, пожалуй, принимала, как должное, и отдавала приказания, как капитан на кидаемом в бушующей буре корабле.

Пришел неизбежный конец — она попала в тюрьму.

Тогда он пришел к товарищам, спокойный, сосредоточенный, и, помолчав, сказал:

— Товарищи, я ухожу. У меня мое собственное, личное дело, ни с кем не связанное... касается только меня. Мне не нужно ни помощи, ни советов, я сам. И для вас я на это время не буду существовать. Когда кончу, я снова приду, я снова целиком отдам себя делу.

Он ушел.

Два года тянулось это. Два года он по кусочкам из дня в день, из ночи в ночь, постепенно и неуклонно строил ее освобождение. Мысли, напряжение, изобретательность — все тянулось в одну сторону. Когда нужны были деньги, он добывал работу и работал, не отрываясь, дни, ночи, без сна, без отдыха, а потом опять методически, терпеливо, с железной настойчивостью, из кусочков, из лучинок и щепочек строил огромное здание освобождения, при невероятно тяжелых условиях заключения.

Наконец, через два года устроил ей побег гениально, изумительно, и растерявшиеся власти, ничего не понимая, долго искали ее труп, полагая, что она убита,— так невероятен был ее побег.

Когда она глянула на него в первый раз после этих двух лет, отступила, в ужасе защищаясь протянутыми руками, — это был не человек, а скелет, обтянутый кожей, и темно запавшие глубоко глаза горели торжествующим огнем победы.

— Тогда, двадцать лет назад я была поглощена работой и только и думала о том, как вырвусь из тюрьмы — снова ринуться в борьбу. И я отдала ему свою молодость, свою любовь — скорей из чувства благодарности, сострадания, почти из жалости. Я видела, как он мучился. Скрытый, замкнутый, все в себе переживавший, он явно шел на опасность, явно играл жизнью. Я знала, как любит меня, все забывая, тяжело, мучительно, глубоко храня все в душе. Никогда ни слова никому.

И снова по освещенной внизу комнате — большие мужские, крепкие шаги.

На одной из станций их едва не арестовали. Он был ранен — пуля пробила легкое. Надо было спасаться. Она увезла его в глушь, в эту степную балку, где нужно было переждать и лечить его.

Первое время пришлось сидеть смирно, пока не остынут поиски по горячим следам.

Надо было пить, есть. Связи были порваны. Принялись за самую черную работу, пахали, сеяли, водили скотину.

День убегал за днем.

С мужиками установились обычные мужицкие отношения. Первое время мужики не пускали их в свою среду, но когда увидели, что они так же бьются в нужде, так же с утра до ночи работают, а, главное, так же выколачивают копейку, примирились.

Она работала до упаду; на свободе лечила баб, учила ребятишек. Он писал мужикам прошения, направляя по инстанциям, но, главное, нужно было пахать, сеять, возиться со скотиной, — раз заведенное хозяйство не позволяло себя оставлять ни на минуту.

День убегал за днем.

Раз он ей сказал:

— У нас нет детей.

Она затрепетала, как птица. Детей... да. Она не думала никогда об этом; не думала об этом, потому что всю ее наполняло другое. Не думала и здесь, потому что жила, как на бивуаке пока, точно завтра съемется и уйдет отсюда, и начнется настоящее, а здесь только станция, временно. И убегал день за днем. Глядь...

Раз вечером, когда, глухо белея, за окном гудел буран, он сказал:

— Уж десять лет сравнялось, как мы здесь. — И улыбнувшись, прибавил: — Ты совсем на мужчину стала походить.

У нее руки похолодели... Как десять!.. Да, да десять лет. Но когда же это? И как это могло случиться? Оглянувшись, дни бесконечно уходили назад в туман прошлого, маленькие, коротенькие дни, из которых

каждый в отдельности не имел значения, а вместе — жизнь.

Да, и уже похожа на мужчину, и уже усы, и огрубелые руки, и охрипший голос. Потихоньку, незаметно и страшно...

Тогда в первый раз она почувствовала, что любит, безгранично любит Александра Егорыча, что не может жить без него. И в то же время в первый раз увидела его улыбку.

В окнах ночь, свет от лампы на полу и на стенах, на потолке колеблющийся светлый кружок, и все те же тяжелые мужские стучащие шаги.

Она останавливается передо мной, она протягивает ко мне руки. Нет, не мужчина, я вижу перед собой женщину, и на глазах ее блещут слезы.

— Ведь я люблю его!.. Люблю его, такого беспомощного, неуверенного, колеблющегося; люблю его — опустившегося, измельчавшего... У меня не было детей. Я люблю его материнской лаской, всей нежностью женщины, сосцы которой не знали ребенка. Нужно свиней кормить, буду продолжать кормить; нужно с мужиками ругаться, буду ругаться отчаянно, беспощадно... Буду работать, как вол, буду, как кулак, вести хозяйство... Ведь мне ничего, ничего больше не осталось... Ни-че-го...

Она бьется, эта женщина, бьется бессильно, протягивая руки, бьется в безграничной силе и власти любви, признавая свое бессилие, отдавая все свое женское, зная, что нет выхода, нет надежды, одно отчаяние.

На дворе отчаянно залаяли собаки.

— Кто-то приехал.

Прислушались, — за черными окнами тихо.

— Нет, никого... мимо.

— Вам бы выбраться отсюда, уехать. Прошрое давностью покрылось, ведь двадцать лет...

Но она не слушала и продолжала с отчаянием:

— Я ведь даю себе отчет!.. Ну, да, да, да, было светлое, яркое, сильное... была молодость, было единственное, что дается в жизни, и все зарыла, отдала свиньям, коровам, мельнице... Ведь он уже собрал тысяч десять — пятнадцать, и все еще копим... Ну, что ж, надо или умереть, или... или продолжать жить. Не умираю, стало быть — буду жить... Но я не могу оторваться от него... Боже мой, я же люблю, люблю, люблю его безумно!..

И вдруг заговорила тихо, полушепотом, точно по камышу осторожно пробирался кто-то, шурша, и шевелились метелки:

Но почему же, почему женщина не должна быть сильна, мускулиста? Почему женщина не должна быть похожа на мужчину?

Разве не этой силе, не этим рукам обязан он своим благополучием, всем своим хозяйством?

Разве это не я ворочала его жернова, подымала плугом новь, метала стога, выволакивала из грязи воза?

Разве он не обязан жизнью моей силе? Его били мужики, ужасно били, на-смерть. Когда мне дали знать, я бросилась, я схватила за волосы того, который лежал на нем, и почти свернула шею, запрокинув голову.

Одному вывихнула руку, разбила голову и спасла Александра Егорыча. Живой он оттуда бы не вышел... Я ничего, ничего не понимаю, отчего все так...

Я думал, что отдохну, и завтра надо итти дальше.

Она хотела остановить себя и не могла.

— Разве вы не видите этой постоянной улыбки? Разве не понимаете, что за ней? Там — дети, семья, там неудовлетворенное отцовство, там страстное желание иначе построить жизнь, уйти отсюда, освободиться от меня. Там хитрое, никогда не потухающее обдумывание исподволь решительного шага, который он, наконец, когда-нибудь сделает...

Мы долго сидели и молчали, и все так же черна была ночь, и все так же шевелился невинно светлый кружок на потолке. Я думал о том, как шел ночью, и чмокали в грязи отяжелевшие сапоги. И в глазах стояло крепкое, сильное, умное лицо девушки. И никак я не мог свести концы с концами, — все было просто, ясно, и что-то было не так.

— Я вас заговорила совсем.

У нее было снова спокойное, уверенное лицо хозяйки. Позванивая, неспеша мыла и вытирала чайную посуду.

— Александр Егорыч напечатал рассказ в одном из толстых журналов... Вы, я вижу, устали. Постель вам готова, спокойной ночи.

Но когда я уже хотел уходить, она со звоном выронила ложечки и заговорила страстно:

— Но, вы понимаете, я не отдамся живой. Я не уступлю своей жизни даром. У меня хватит силы, —

она поднялась во весь свой большой рост, — ведь я его вот держу! — и она сжала крепкий, загорелый, обветренный кулак. — Он весь тут. Он не смеет пошевелиться, вздохнуть. Как! А моя молодость? - А моя работа? А дело, которому я всю себя посвятила... Ха-ха-ха!.. И он с'еживается, весь сморщивается, как сморчок. И он уже не смеет заикнуться, он уже чувствует, он уже раздавлен тяжестью моей потерянной жизни, и... ха-ха-ха... и опять смиренно, тихонько сидит в этой балке... в этой проклятой балке...

Кто-то прошелся по комнате. Я, нагнув голову, смотрел на пальцы, которые вертел друг около друга.

— А знаете, что, — говорит она, нагибаясь и заглядывая мне в глаза, — ведь вот он улыбается, ведь это он обдумывает, как опрокинуть мою власть над ним, как выползти — вот как угорь выползает из-под сдавливающих камней. Ну, спокойной ночи... право, что это я...

Когда я притворил дверь и сбросил сапоги, она заговорила за дверью:

— Вот вы говорите — уехать. Да разве от себя уедешь? Разве от прошлого, которое в этой балке похоронено, уедешь?

Молчание.

— Да ведь он этого только и ждет. Ведь как только мы подыдемся из этой балки, как только выедем в степь,дохнем воздухом, встретимся с людьми, услышим их голоса, я сейчас же потеряю над ним власть, мы сейчас же разойдемся — он уйдет... Ну, спите, спите, больше не буду...

Но я долго не спал.

Сначала слушал, как сверчок треньканьем задумчиво, немножко грустно, немножко надоедливо, отзывается из какого-то иного мира, где все просто, ясно, как у него за печкой, и если борьба — короткая, жестокая, без колебаний. Потом сверчок устал и заснул.

И я некоторое время чувствовал, что чего-то недостает, потому что стояла темная пустота и молчание. Прислушался и услышал, что идут часы, идут и тикают тоже монотонно, спокойно и из другого мира.

Я долго слушал и стал засыпать. Меня толкнули. Я торопливо проснулся.

— Ну!

Выплыла улыбка Александра Егорыча. Десять лет человек улыбается. Как не устанет?

Тикают часы. Качаясь, я начинаю тонуть в забытии.

— Посто-ой!..

Снова встряхиваюсь и, хотя глаза сладкие и липнут, начинаю додумывать, что не додумал и что мешает... Как же это он десять лет улыбается! Ведь те два года, когда всю силу свою, все напряжение мысли полагал на ее освобождение, наверное, такая же улыбка не сходила с лица, улыбка непрестанной работы, которую он отгораживался от людей.

Проснется среди ночи: ах, вот еще что!.. Или вот это еще нужно предвидеть, или вот такую еще комбинацию. Во сне даже думал и... улыбался, чтоб кто-нибудь не открыл, не догадался. Два года!

Ну, хорошо, не могу больше... и я во сне думаю о себе... Тиканье едва слышно... Часы где-то далеко... слились с пустотой и молчанием.

День был снова солнечный, свежий и веселый, с утра чуть морозный, к полудню распутившийся и закудрявившийся серыми потеплевшими облаками.

Двор, сараи, арбы, лошади, скотина, все производило впечатление крепкого, давно умело, внимательно налаженного хозяйства, которое строилось изо дня в день годами.

Хозяйка в больших сапогах, короткой юбке, мужской шапке энергично распоряжалась о вцах, свиньями, коровами, телятами. Это было совсем другое лицо, чем вчера ночью, заветренное, полное энергии, хозяйского напряжения и силы. Как будто слезы не блистали на глазах, как будто безнадежно не опускались руки, как будто не лежали сзади страшные двадцать лет, и, разинув рот, не глядела на нее широко рассевшаяся балка, где — неподвижный пруд, склонившиеся ивы, на пруду гуси белеют, меж ивовых ветвей сквозят хаты слободы, наверху — иссера-кудрявые дразнящие дождем облака.

Приехал Александр Егорович, распряг лошадь, здоровается, улыбается.

Нет, пустяки, ничего нет, ничего не было. Просто люди живут возле слободы, имеют мельницу, занимаются хозяйством.

— Ярмарка большая, — говорит Александр Егорович. — Что, не приезжал прасол? Скотина в цене стоит, несмотря на осень.

— Нет, — говорит Екатерина Павловна, — не приезжал. А вот мужики приходили, — не хочешь ли компанию составить землю куцевейсовскую купить.

Она говорит так просто, обыденно, что я окончательно убеждаюсь, что ничего нет и не было, что мне что-то приснилось, да я и думать об этом не хочу. Есть просто день, заполненный хозяйственными заботами, и больше ничего.

Но отчего мне так захотелось вдруг уйти отсюда?

— Пойдемте на мельницу, покажу вам устройство моих турбин, — сегодня подняли одну.

— Пойдемте.

Я иду, чмокают в невидимой грязи сапоги, и кругом ночь.

Потерялся счет моим шагам, потерялся счет устало и одинаково тянущимся часам. Ни зги не видать!..

Но как весело итти, вытаскивать усталые ноги из чмокающей невидимой грязи, а кругом ни огонька, ни звука!

Знаю, и меня ждет глубокая балка посреди голой степи. Ну, что ж! Это где-то далеко и смутно, как смерть живого человека, а теперь я иду среди ночи по неведомо откуда и куда тянущейся дороге. И среди темной сырости слышится звук моего голоса.

Все ночь, все тьма, все молчание...

«Милый, отдохни, ты устал...»

«Да, устал, дорогая... но иду, опять иду среди молчания, среди черной сырости и мглы осенней ночи...

Это ничего, что за мной остаются все те же почер-
нелые, нахохлившиеся деревни, те же темные люди, те же
пустынные черные поля... Нет ничего страшнее, как
одинокая балка среди голой степи с мельницей»...

Не огонек ли загорелся во тьме?

Нет, искры прыгают в глазах, а, может быть, волчьи
глаза?

Пустынно и тихо.

ХОЛОДНАЯ РАВНИНА

Лежала неподвижно холодная снежная степь, и стояла над ней одинокая луна и робкие при луне, дрожащие звездочки. Чистое, без пятнышка, чуть голубоватое небо, казалось, снежно искрилось.

С той высоты, откуда холодно глядела луна, такая спокойная, открывалась вся безбрежная зимняя равнина, смутная и безгранично теряющаяся.

Мириадами голубоватых искорок играла она, мириадами переливающихся искорок первозданного холода. И не было на ней живого пятна, нигде не светился огонек человеческого жилища, не подымался незримым движением белый теплый дым, не скрипел снег под ногами.

Но откуда-то шла тонко-незримая волна потерявшейся среди первозданной ночи теплоты. Точно безгранично малый комочек незримо теплился, затерянный на необозримой морозно-играющей равнине.

И от этой неведомой, неуловимой теплоты поколебались звезды и расплылась луна. А равнина стянулась небольшим снежным пространством, и зажглись окна человеческого жилища.

Это был просторный, вроде помещичьего, дом, сквозил по окнам тюль, ходили по освещенным комнатам люди.

И он подошел к ней, склонившейся обвитой черною косою головкой над освещенной из-под абажура книгой.

— Нравится?

— Знаешь, милый, произведение то достойно, если в нем есть закон жизни... то-есть... ну, например... Видишь, если человек один и отдает себя другому, то это закон...

Он наклонил голову. Он понимал. Он понимал не эти не совсем складные слова, а понимал то, что всегда было: спокойствие, ровность, что оба они любят друг друга и что в соседней комнате, на кровати, разметался их крошка.

Это случилось так, как всегда случается: юноша и девушка встретились, полюбили друг друга, и теперь — семья. Каждый день уходил такой спокойный, наполненный, удовлетворенный.

Мальчик рос. Друзья, родные, окружающие люди несли им те человеческие отношения, которыми только и полна жизнь, которые только и дают ей смысл. А книги, а искусство, а мысль, как цветы, как благоухающие цветы, красивыми пятнами проступали по ней.

И они никогда себя не спрашивали, чего бы они хотели, потому что наполнен был их день.

Однажды не было мороза, не было спокойной, мертвой луны, а стоял летний день, жаркий летний день. Не шевелились сквозные узорчатые пятна по песку до-

рожек, потому что не шевелилась в дремотном зное листва. От крыльца, от дома лежала по земле короткая, обрезанная, жаркая летняя тень.

А на крыльце шумел послеобеденный самовар, звенела посуда, в белой сквозящей кофточке, с головкой, обвитой черной косой, сидела жена, шуршал газетами он, и, зыбко становясь столбиком на голенькие ножки, с подоткнутой рубашонкой, с удивлением смотрел крохотный, пухленький и беленький человечек на самовар, на посуду, на мать, на отца, на мгновенно влетающих под потолок черных ласточек, на жужжащую в паутине муху и говорил, заложив розовенький пальчик в полуоткрытый ротик: «тце-тце»...

И все улыбались, и кивали головами в знак того, что это полно особенного смысла, а дебелия с перетянутой грудью няня смотрела важно и торжественно, как королева в своих владениях.

И закурилось далеко на дороге, переваливавшей через гребень. Смутно закурилось, и не разберешь, — стадо ли идет, едет ли кто, или степной ветер закрутил и поднял придорожную солому и пыль.

Все посмотрели и отвели глаза, и стоял зной, который говорил, что жизнь медленна и хороша в своей медленности.

— Тце-тце...

А облачко пыли катится все ближе и ближе. Уже различишь колеблющуюся дугу, мерно потряхивающую в дуге лошадиную голову, и в сером бегущем облаке — небольшой тарантас и смутно проступающая голова

кучера и седока, которые временами совсем тонут, и ничего не разберешь.

— Кто-то едет.

— Должно быть, со станции.

— В деревню.

— В деревню они давно бы уж свернули.

— Посмотри, да ведь к нам!.. На плотину сворачивают.

И через минуту смех, крики, суета. Из тарантасика слезает в сером от пыли парусиновом балахоне девушка. У нее серые смеющиеся глаза, серые волосы — нет, каштановые, это пыль насела.

— Ле-оля!.. ты!.. Вот не ждали-то... — и черноволосая, обвив руками, страстно целует сестру.

Та тоже не оторвется и смеется, и слезы звенят.

— Господи, я уж думала, не увижу вас... Маруся, дорогая моя, отчего ты так редко писала?.. У нас лошадь дорогой распряглась, я чуть не побежала пешком... А если бы знали, сколько сусликов в степи!..

Она крепко целует зятя и вбегает по ступенькам.

— Боже мой, да это Юрик!.. Да неужели он?.. Да неужели же такой большой?.. А ножки-то, ножки, голенькие!.. Миленький ты мой... славенький ты мой... ненаглядный...

А он так же важно, сосредоточенно и вдумчиво, держа палец во рту и делая круглые глаза:

— Тце-тце!..

Та так и раскатилась заразительно и подмывающе:

— Да он говорит!.. Да он говорит, моя крошка!.. Да вы слышите?.. Слышите, господа?.. Няня, милая, слышали?

— Тце-тце!..

Она схватывает его, тормошит, танцует с ним, покрывает все его тепленькое тельце звонкими поцелуями.

Девственная радость и напряжение неиспытанного еще материнства брызжут в ее искрящемся смехе, искрящихся глазах и разгоревшемся лице.

— Ну, повтори, повтори, мой милый, моя прелесть... повтори... скажи: те-ття!

— Ты его затормошишь, Леля.

— Да сядь ты, пожалуйста. Пей чай и расскажи нам про столицы.

— Ну, нет, надо сначала умыться и снять с себя пуды пыли. Посмотри, волосы какие-то серые. А у вас хорошо тут. Ужасно люблю этот неподвижный послеобеденный зной. Ну, бегу. Я у тебя, Маруся.

— Там все есть.

Слышно, из спальни доносится шум воды, плесканье, плещется, как утка. Потом все трое сидят за самоваром, и она со своими влажными приглаженными волосами и с свежим, зарумянившимся лицом рассказывает о шумной столичной жизни, о литературных, политических новостях, в промежутках схватывая и целуя «Тце-тце».

— Я желаю эти два месяца отдыхать, ничего, ничего не делать, не читать...

— Не мыслить, не чувствовать, не быть, — подхватывает Николай Иванович, прихлебывая чай.

— Да вот Петр Иванович наезжает. А у Колосовых два студента. Вот тебе и весело будет.

— Варенье будем с тобой варить, — говорит Маруся.

— Купаться, а, главное, с «Тце-тце» гулять, бегать. Ну, отчего ты, как желе, весь трясешься? Побегать с тобой нельзя? Кто у вас бывает из соседей?

— Ну, ни за что. Я от всего питерского хочу освободиться. Студенческую тужурку видеть не могу... Впрочем, пожалуй... Познакомиться... только познакомиться... А вы, Николай Иванович, точно выросли, больше стали... А загорел-то!..

— Походила бы ты так по жнивью в жару. Это тебе не Питер, не Невский.

Жизнь потекла, как прежде. Тот же долгий летний день, те же желанные вечерние тени, те же чудесные звенящие ночи, то переполненные звездами, смутные и таинственные, то бесконечно посеребренные, и тогда никто не хотел ложиться спать и гуляли по степи, и за ними неотступно ходили лунные тени, или часами сидели на плотине и слушали, как звенят серебряно-падающие капли и тихонько моет вода под неподвижно стоящими черно-дремлющими колесами.

И казалось, так и надо было, чтобы приехала тройка и чтоб жизнь шла так же, как прежде, ничем не нарушаясь.

Раз набежала тучка, и посыпался дождь на жадную землю. Тогда зажгли лампу, все уселись за большим освещенным столом на террасе, и с двух сторон черной

непроглядной тенью стояла ночь, и в ней слышался невидимый дождь.

Читали только что полученную книжку журнала. Николай Иванович читал, покачивая заложенной на ногу ногой и прикуривая от времени до времени тухнущую папиросу.

— «Когда на море стала ночь, во мраке где-то, бесконечно далеко загорелся тонкий зеленоватый огонек. Люди перегнулись через борт и измученными глазами глядели, не отрываясь, одного бесконечно страшась, что он потухнет... Как густое черное масло, подымала и опускала их во тьме волна»...

Он поднял глаза: два глаза, два серых глаза пристально, не мигая, глядели на него. Он на секунду опустил глаза на освещенную книгу, поднял, опять опустил, и стал спокойно читать.

«Так вот что!..»

Барабанил дождь. Спокойно, не нарушаясь, продолжалось чтение.

С тех пор началось... В сущности, ничего не произошло, ничего не изменилось. Также начинался каждый день, так же стояло безоблачное небо, так же в горячей степи шли работы. Так же собирались за вечерним чаем, и за столом белели сквозящие кофточки, и одну голову облежала черная коса, а другую обрамляли каштановые волосы. Перебрасывались шуткой, смехом, играли с «Тце-тце», таким же серьезным и сосредоточенным и дрожащим на толстенных ножках, как желе.

— На будущий год попробую искусственное бактериальное удобрение, — уже списался с представителями

в Германии. Леля, отчего ты не берешь иноходца? Ведь ты же так хотела ездить верхом. Я приказал Семену всегда держать наготове для тебя.

— Не хочется. Вот вы носитесь со всякими вашими удобрениями. Скучно. Люди должны научиться искусственно готовить пищу на фабриках, как готовят на фабриках платье, — а поля, леса, луга оставить для красоты, для поэзии, а зверей, птиц — для людей, людей, чтобы они с природой...

— Живет в Петербурге, в самом прозаическом каменном городе, а сама мечтательница.

Голос Маруси спокоен, ровен, как ровны спокойные красивые черно обрамленные карие глаза. И в этих припущенных ресницах — медлительное и чуть ленивое, и полудетски обрисован подбородок.

— Везде кругом высокая, высокая трава, по оврагам, по балкам дремучий лес, звенят ручьи... Николай Иванович, вы в нынешнем году будете в Петербурге?

— Нет, мы эту зиму месяца на два в Киев. Маруся, вели подать масла.

Со степи неслась песня. Девки ворочались с работ и голосили, но расстояние, но молчаливо лежащая степь смягчали, и сюда доплывала мягко и грустно девичья печаль и тоска.

«Так вот что»...

Куда бы ни оборачивался, что бы ни делал, с кем бы ни говорил, два серых глаза немеркнувшим представлением стояли перед ним.

Он утомлял себя, безумно много ходил по степи в жару, в палящий зной, но так же внимательно,

не отрываясь, не потупляя взора, стояли два серые глаза.

И он стал защищаться.

«Но ведь я люблю Марусю. Она — чудесный человек».

Тогда молча, не приводя никаких доводов, проступали серые глаза. И то, что проступали без усилий, и никаких не нужно им доводов, было страшно.

Тогда он опять защищался. «Я люблю Марусю. У нее чудесная душа и полудетский подбородок. И что-то еще детское в ее лице, движениях. Бесконечно дорога ее милая, как вороновым крылом, повитая головка...»

«Ну, так что ж!..» «Но ведь они — погодки. В сущности, Маруся почти девушка и по душевным своим движениям, и по внешнему своему облику».

Он ловил себя на этих мыслях, и со страхом, ужасом и отчаянием мял их и давил себя работой, и внешним напряжением.

Но несмотря ни на что, несмотря на то, что жизнь текла все в том же мирном и покорном, раз определенном, ничем не нарушаемом порядке, подавляемые мысли воровски, неуловимо-извилисто, точно смеясь, втихомолку выползали и понемногу овладевали им.

Маруся для него была единственна. Весь мир распался на нее и на всех остальных. А теперь рядом с ней, неуклонно, спокойно и неустранимо всегда появлялась другая фигура, чуть ниже ростом... каштановые волосы... серые спокойные внимательные глаза, и в них

затаенность, не то искорки дрожащего смеха, не то непотухающей печали.

А раз она сказала:

— Боже мой, как время безумно летит, — скоро надо уезжать.

Он посмотрел на далекий изволок, по пыльному гребню которого, как игрушечные, длинной вереницей тянулись арбы, до-верху нагруженные хлебом, на ток, где без устали гудела паровая молотилка. И проговорил:

— Да, время уносится, и ни одной секунды не вернешь.

С этих пор он стал угрюм и молчалив. Точно все свое внешнее внимание он отдал всему, что совершалось кругам, но замкнулся и вечно прислушивался к тихой мелодичной печали, порою тоске, что, никогда не затихая, звучала в сердце, звучала небольшою фигуркой... каштановые волосы... серые глаза...

Вот пришел и последний день. У крыльца запряженные лошади. Последние поцелуи, блеснувшие слезинкой глаза, просьбы, наставления, последнее прости. Она схватила «Тце-тце», окрепшего за лето, уже не шатавшегося, как желе, покрыла безумными поцелуями, а он схватил ее ручонками и обслонявил ее лицо и проговорил: «Те... ття!...»

Порывисто обняла сестру, крепко, как брата, как родного, поцеловала Николая Ивановича и торопливо взобралась в экипаж. Лошади тронулись.

Все было, как всегда бывает при отъезде. Но в последний момент, в самый последний, она обернулась и

на секунду на нем остановились серые глаза... Что это? Не безграничная ли печаль в них?.. Не слезой ли тоски и отчаяния блеснули?..

Но уже далеко за экипажем катится клуб пыли... Все меньше и меньше... Покрутился на верхушке гребня и... пропал.

Пустая степь.

«Ага, так вот что!..»

Далекий звук лопнувшей струны, никогда, никогда не умирающий.

Все проходило законной чередой — пришла осень с черными дождями, пришла зима, и побелела степь, потом все растаяло, приходили и уходили заботы, огорчения, радости, пришли в мир новые дети, но все тот же звучал отзвук тихий и умирающий: «никогда!», но все звучащий через всю жизнь.

И среди ночи, когда и дом, и сад, и степь спали в молчании, вдруг отчетливо и ясно глядели грустные, спокойные глаза, и острая тоска впивалась в сердце, он садился на постели и начинал бороться, ибо хотел жизни, а не тоски и воспоминаний и печали.

«Но если бы сна была моей женой, а приехала бы Маруся-девушка тогда что же? Повторилось бы наоборот? И Маруся имела бы какую-то особенную цену? Видишь, как это все нелепо, надуманно, искусственно. Нужно выбросить из головы и жить здоровой и нормальной жизнью, какой раньше жил»...

И это было так убедительно, просто, ясно и логически неотразимо, что он совершенно успокаивался.

Но дав ему маленький промежуток, без всякого вызова и повода, отчетливо до осязательности, вставала маленькая фигурка, личико, обрамленное каштановыми волосами, и смотрели ясные серые глаза. «Вот я!»

И это опрокидывало все его доводы, все логические построения. Ясные серые глаза, внимательно на него глядящие... А что, если любящие?!

Он одевался, бросался из дому и бродил по степи, покрытый молчаливой темнотой, пока бледно и безнадежно не начиналось утро.

Благоуханный белый цветок, унесенный вихрем годов. Тонкий, тихо-печальный музыкальный напев, незримо звучащий в сердце.

Уж виски у него белели. Уже морщины легли на чело его жены. Уже скоро...

.....

Неподвижно лежит холодная снежная равнина, и стоит над ней одинокая мертвая луна и робко дрожащие звезды. Чистое, без пятнышка, небо холодно искрится.

С той высоты, откуда глядит луна, такая спокойная, мертвая и белая, открывается вся снежная безбрежность, смутно и безгранично теряющаяся.

И нет живого пятна, нигде не светится огонек человеческого жилища, не подымается незримым движением белый теплый дым, не скрипит снег под ногами.

КЛУБОК

За многоэтажными домами подымалось солнце, позолотив купола ближних и дальних церквей.

Клейкие маслянистые почки на деревьях бульвара надулись и приготовились полопаться.

Гулко скатывались трамваи в голубовато задымленный конец далеко вниз сбегающей улицы. Кричали галки резким выделяющимся криком. Бежали школьники, спешила прислуга с корзинами, и в далеком голубом мареве бесчисленно тонули крыши и трубы.

Было по-особенному шумно, оживленно и звонко, как будто это в первый раз в городе наступала весна.

Не замечая этого оживления, идет Марья Васильевна, добродушно раскачиваясь, дебелая, с двумя подбородками, руку оттягивает корзина, а из корзины выглядывают мертвые куриные ноги.

Среди этого оживленного мелькания, движения, звонкоголосого шума она вслух говорит сама с собой.

— ...Вот корми его... ну, куда мне с ним... бьешься, бьешься с квартирантами, не досыпаешь, угождаешь,

одних неприятностей сколько, а он только жрет, только и делов от него...

Она говорит вслух, но у каждого свое, каждый спешит, и на нее никто не обращает внимания.

Мимо знакомых лавок, мимо сплошных многоэтажных домов по панели, казалось, протоптанной ею за долгие годы, Марья Васильевна подходит к сводчатым глухим с сыростью воротам, к которым привыкла, как к родным.

Переменив отекающую от тяжелой корзины руку, она входит в узкий и глубокий, как колодец, двор. Со всех сторон чернеют окна, а на самом верху голубеет четырехугольный кусочек весеннего неба.

Несется звонкий ребячий гам — ребятишки уже высыпали на холодный асфальт. И на их веселую мелькающую стаю смотрят из-за края асфальта низкие приплюснутые окна полуподвалов. В одном месте из окон несет прелым паром, слышны бабьи голоса; в полутемной глубине в облаках пара видны согнутые спины, голые моющие руки.

Хозяйка прачечной, налитая, с красной, обваренной шеей, горласто покрывает всплески мыльной, пузырящейся воды и тяжелое дыхание работниц:

— Я — удова, ни отца, ни матери, всяк обидит, кому не лень... Ну, в случае чего и я сдачи дам...

Марья Васильевна на минутку приостанавливается:

— Ну, как Алексеевна?

— Здрасте, Марья Васильевна, — говорит прачка и так же горласто начинает рассказывать историю, как ее изобидели и как она свернула в узелок обидчика.

— Так, так, — соглашается Марья Васильевна и идет дальше.

У другого подвала зеленый сапог на вывеске. Через низкое у самого асфальта окно виден затылок с узелком жидких волос — женщина наклонила костлявое злое нестарое лицо и торопливо гремит блестящей машиной, тачая передок от ботинка.

Марья Васильевна снова останавливается:

— А твой иде?

— Пошел головки покупать, — говорит та, не отрываясь от гремящей машины, — пропил вчера, а ноньче требует: иде головки. Ты же, говорю, пропил вчера. А-а, так я, по-твоему, пьяница? Вдарил...

В полутемной глубине маленькая девочка тоненьким голоском однообразно напевает:

У ка-ата вар-ка-та-а бы-ла ма-че-ха ли-ха-а...

И качает ногой люльку, в которой на спинке, раскарячившись и дергая ручонками и ножонками, пускает слюнявым ртом пузыри ребенок. В темном углу, красновато освещенном лампочкой, склонив голову, перехваченную ремешком, и разводя в разные стороны руками, протягивает дратву работник.

Марья Васильевна неодобрительно качает головой, опять переменяет затекшую руку и идет к себе, а кругом со смехом и гамом мелькают ребятишки.

Торопливо выходят на работу запоздавшие приказчики, мелкие торговцы вразнос, ремесленники, разный рабочий люд, который густо ютится за этими обступившими асфальт подвальными окнами.

Здесь все знают друг друга, и Марье Васильевне бросают на ходу:

— Марье Васильевне почтение.

— Куры ноньче почему?

Марья Васильевна медленно поднимается по лестнице, отдыхая на каждой площадке.

Когда поднялась, губы у ней трепетали, ловя воздух. Долго не могла позвонить, а когда позвонила, дверь открыл муж, когда-то красивый, теперь с обвислыми щеками, животом и бакенбардами.

— Студент самовар требует.

— Поставил?

— Нет.

— Что же?

— Да вот поставлю.

Щеки и шея Марьи Васильевны сразу налились краской и глаза слезами:

— Да что же это, прости, господи, что же ты без меня не можешь?.. что же это мне с тобой делать?..

— Ну, да поставлю, поставлю... — и стал ставить три самовара.

Марья Васильевна прислушалась—за второй дверью по коридору смутный шум. Что-то упало... подавленный взвизг... Опрокинулся стул, звякнул разбитый стакан...

Мужской голос сдержанно, сквозь зубы:

— ...Ку-ссаться!.. убью... потом себя...

А женский, извиваясь, как змея, сквозь перехваченное дыхание:

— ...Пуссти... тты... изверг!.. о травлюсь... пусти...

— Опять?—повернулась Марья Васильевна к мужу.

— Да уж минут десять.

Снова со звоном разбился стакан или блюдо.

— Господи, да что это...

Марья Васильевна, тревожно раскачиваясь, подошла к двери, стала слушать, неуклюже нагнувшись. Закрыла один глаз и стала смотреть, ничего не видя, в замочную скважину.

Осторожно постучала и покрестилась у самого лица маленькими крестиками.

«О, господи, вот в недобрый час навязались...»

В другом конце коридора приоткрылась дверь, просунулась взлохмаченная рыжая голова конопатого студента.

— Началось?

Марья Васильевна безнадежно отмахнулась.

Из соседней двери выглянула голова в папильотках, с сердитыми морщинами и старой шеей:

— За полицией надо послать... невозможно... у меня нервы... какое тут лечение... Профессор говорит: покой, покой и покой прежде всего... Раз не умеете держать квартирантов, не надо и держать... Это — обман... это — вовлечение... как это говорится, когда невыгодно... А ведь, поди ты, нарасказывала мне, когда сдавала: и то, и се, и покой, и птичьего молока только нету...

Марья Васильевна красная, с пылающими ушами, беспомощно развела засученными белыми полными локтями и пошла к себе в кухню, которую занимала с мужем. В сердцах заставила мужа вытрясти и обтереть опроставшийся у студента самовар. Тот, кряхтя и молча

жалуясь, вытряс и поставил на полку. Другие самовары все кипели, дожидаясь.

Из двери, где слышались шум и возня, вышел господин с светлой бородкой, в судейской форме и, как ни в чем не бывало, пошел с портфелем к выходной двери.

А из комнаты студента доносилось монотонно:

— ...юридический акт есть всякое... всякое волеизъявление частного лица, направленное...

И все привыкли, проходя мимо этой двери, слышать этот монотонно читающий голос.

Марья Васильевна подошла к двери, из которой вышел судейский, постояла, сердито вытерла большим и указательным пальцами углы туб, постучалась и, насуворив белобрысые брови, вошла.

— Можно убирать?

В большой светлой с мягкой мебелью комнате перед простеночным зеркалом молодая женщина, подняв руки, подбирала светлую, как лен, копну капризных волос.

— Доброе утро, Марья Васильевна, — не оборачиваясь, сказала она странным, сразу обращающим на себя внимание голосом.

Марья Васильевна поджала губы.

— Доброе утро, Елена Александровна, — и стала собирать на поднос посуду. — Стакана и двух блюдец не хватает, — сказала она невинно, еще больше поджав губы.

Та быстро повернула к ней копну льняных волос, не отнимая рук, и остро глянуло небольшое без кровинки лицо с густой синевой вокруг глаз.

И вдруг засмеялась тоненько-сузившимися глазками, неприятно тонкими губами, мелкими острыми зубами.

— Ха-ха-ха... вон они!..

Марья Васильевна, с трудом перегибаясь через живот, подобрала с пола сверкавшие осколки.

— Как хотите, Елена Александровна, ну не могу... я только трудом своим живу... Квартиранты в претензии... хотят с'езжать... Нет, уж господь с вами... я вами много довольна, только лучше с'езжайте, сил моих нету...

— Да как вы смеете!..— крикнула та тонким, нестерпимо звенящим голосом, — как вы смеете!.. Кто вы? что вы такое?! экономка... хуже прислуги... наглая...

Марья Васильевна с налившимся лицом и влажными глазами, схватив поднос и звеня в трясущихся руках посудой, заспешила к двери, чувствуя, что подгибаются ноги.

«Унеси, господи... создатель... царица небесная»...

Да чуть не выронила посуду, пошатнулась назад — две тонкие руки обвили сзади.

— Милая моя, дорогая... простите... не сердитесь... побейте меня!.. ну, ударьте, уда-арьте, а то разозлюсь...

«Господи... царица небесная... свят, свят, свят, господь Саваоф»...

И, пригибаясь под нависшими сзади руками, боком сунула на кровать, чтоб не побить посуду, поднос.

А та бросилась в кресло и вся затрепетала от нестерпимо рвущихся рыданий.

— Я... я... я... его... ненавижу ... не терплю... выносить не могу... если б он сегодня сломал себе ногу...

Вдруг судорожно схватила, целует пухлые пальцы Марьи Васильевны, мочит слезами:

— Не сердитесь... простите, про... стите ме... ня... вы одна у меня...

Глянуло горькое, сияющее слезами женское лицо, и у Марьи Васильевны подкатилось сердце. Наконец, набрала воздуха и сказала:

— Да господь с вами... да что вы, ай он злодей вам? Он же вам муж. Статочное ли дело... Сколько годов дожидался, одних денег сколько ухлопал на развод, поди, тысяч десять просадил... Да такому мужу ноги мыть да воду пить.

Та всхлипнула, закрыла узенькое лицо тоненькими музыкальными пальцами, и между ними торопливо закапали слезинки:

— Люблю его, Марья Ва... сильев... на, люб... лю больше разума, больше души... Мне все равно... хоть сейчас... умереть...

Отняла руки. Лицо сразу стало маленькое, стянулось в кулачок, и снова пролегла сухая черточка затаенного, истерически готового прорваться крика.

Долго охала в кухне и не могла притти в себя Марья Васильевна. Наконец, оказала мужу:

— Пойду к Тоне, видно, проснулась. Актер не требовал?

— Нет, дрыхнет.

Не постучавшись, Марья Васильевна прошла к Тонечке и, когда притворяла за собою, донеслось из соседней комнаты студента: «римское право... наследовании»... — и смолкло, прихлопнутое дверью.

— Ну, чего вылеживаешься? — спросила Марья Васильевна, присаживаясь на кровать в ногах.

Выпостав на покрывающую ее простыню тоненькие голые полудетские руки, Тонечка, сама хрупкая, с едва развившейся грудью, как подросток, улыбается милой сонной улыбкой, раскрывая слипающиеся глаза.

За стеклом на забеленный птичьим пометом подоконник прилетели сизые голуби.

В верхних стеклах противоположной стены отражалось из-за крыши солнце, и над Тонечкой по стене играли зайчики.

Она потянулась, хрустнула пальчиками:

— Так, полежать хочется.

Голуби, кружась, ворковали грудным воркованьем, нагнув головки, и, схватившись клювами, замирая и дрожа, стали целоваться.

Тонечка вскочила, в одной рубашке подбежала к окну, распахнула, захлопала в ладоши. Глубокий неумирающий городской шум стал явствен, а голуби сорвались и, звеня, косо со свистом понеслись на крышу. Всплыли из глубины двора всплески детских голосов, смех, крики, удары выбиваемого ковра, монотонные гаммы и медовый голос граммофона: «Куда, куда вы удалились»...

— День-то какой... — и опять юркнула под простыню, а в сияющих зрачках прыгало по бесенку.

— Ну, егоза!.. О, господи, видно, уж и не дождусь покою.

— Да чего такое? — спросила Тонечка, и две горькие детские черточки легли от угла губ.

— Ну вот поди ж ты... Рожня нужно. Молодые, здоровые, красивые, радоваться да бога благодарить, так нет... — сказала Марья Васильевна, вздохнула, привычно вытерла большим и указательным пальцами мокрые углы губ, вытащила из-под Тонечкиной постели крючок, вязанье, надела очки и стала вязать салфетку на круглый столик.

— Опять? — горько спросила Тонечка все с теми же тоненькими черточками у носа и губ.

— Ну как же. Энта, страшная, мне сегодня покою не дает. Сегодня высунулась вся в папилютках, одно слово — в полицию. Ну, я пошла к Елене Александровне. Она сидит, причесывается. Как сказала, батюшки мои! Думала, крыш а сорвется. Вскочит да ко мне — и такая я, и сякая, и немазаная, и экономка, и хуже прислуги, — так с грязью сделала. Тут я ей так беспрекословно говорю: али муж ваш вычитал в судебных установлениях, что вы меня так оскорбляете, ну, я не согласна, хоть сам председатель пусть цепь надевает, мне все равно. А она как кинется, давай мне руки целовать, а сама в три ручья: я его ненавижу, я без него жить не могу.

Тонечка подставила под голову голый локоток, слушает, широко открыв внимательные глаза.

— А ведь пять лет дожидался, на свой счет суд вел, сколько денег ухлопал. Теперь две комнаты у меня занимает, а то бы квартиру мог бы иметь тысячи за полторы. А она-то шестнадцати годков вышла за купца богатеющего. Из себя-то, знаешь, субтиленькая, вьюнчик, да непоседа, ты ей слово, она тебе десять.

Вышла за купца и через неделю сбежала. Встретилась с этим, а он кандидатом, только что кончил. Ну, добился развода. Ездили вместе к его матери. А мать его важная, в Варшаве отец служит. Так мать-то и говорит сыну: денег-то ты на нее посадил, так поставь ее, статуей золотой с нее на эти деньги сделаешь... Вы, говорит, душечка, отчего же от первого мужа ушли да на первой же неделе? — Это, говорит, мамаша, тайна-секрет. На том и уехали.

Мелькает торопливо крючок, поблескивая, как вода, торопливо накидываются петля за петлей, и тихонько ссовывается надвязываемая салфеточка.

Марья Васильевна следит сквозь очки за крючком, важная, добродушная, дебелая, отдаваясь привычному ощущению прожитой жизни, когда вся тяжесть и все радости сзади. Любит ее такую Тонечка. Любит, как рассказывает Марья Васильевна, особенно, когда было еще холодно: тоненько, бывало, поет самовар, запотеют окна, и не видно противоположной стены.

Тонечка выскальзывает из-под простыни, накидывает ярко-красную юбку, кофточку, вздевает туфельки, перевешивается через подоконник и кричит вниз:

— Здравствуйте, Никанор Сергееч.

А снизу:

— Тридцать пять с кисточкой.

— Нюрка-а, с'ела канфеты?

Снизу тоненько:

— С'еля... иссо ха-цу.

Тонечка схватывает коробку и, совсем перегнувшись и жадно глядя вниз, начинает кидать туда кон-

феты. Снизу доносится радостный детский визг. Опустошив коробку, Тонечка протягивает руки и хлопает пустыми ладошками:

— Все, больше нету.

Потом срывается с окна к Марье Васильевне, душит тоненькими руками, целует в засос:

— Миленькая вы моя... родненькая вы моя, золотце мое, алмазная, ненаглядная, бесценная...

— Ну, ну, ну, будет, будет, затрепала, — и сдвинула на белобрысые брови очки.

Тонечка кружится, раздувая юбку.

— Я вас на автомобиле прокатаю.

— Не надо мне твоего автомобиля, и без автомобиля тошно.

Чем нравилась Марье Васильевне Тонечка, так это тем, что никогда не причиняла неприятностей и беспокойства, хотя утром в ее комнате всегда пахло дорожными винами, сигарами. И Марья Васильевна говорила, когда квартиранты обижались:

— Ну-к, что такое, не скандалистка, абы какого народу не приводит, а приходят господа чистые, и всегда в манжетах, просто сказать, гости. И всякий квартирант имеет право пригласить гостей. Почем кто знает, из каких у него гостей. Может, истинный жулик, или сам в цилиндре, а в клубе краплеными играет. Всего видала на своем веку.

Тонечка числилась шляпницей, жила у Марьи Васильевны просто как квартирантка, и Марья Васильевна не злоупотребляла своим положением, как другие

хозяйки, сосавшие пиявками таких жиличек, и брала лишь пять рублей лишних за риск.

И с полицией Тонечка умела ладить, — в случае нужды давала околоточному пять рублей.

Всегда была весела Тонечка, никогда не жаловалась, смеялась, кружилась и хлопала крохотными ладошками. Посетителям рассказывала, что отец ее председателем окружного суда, что она бежала от родителей, училась в пансионе, за ней ухаживал гвардейский офицер. Но с Марьей Васильевной была откровенна:

— Папаша в Рязанской губернии хозяйничает, крестьянствует. Хоть бы одним глазком глянуть. Боюсь и писать. Две сестры у меня выданы в нашей деревне; один брат немой; один в солдатах; одного железная дорога зарезала.

А раз уселась в кресло совсем с ногами, накинула на плечи платок, с'ежилась комочком, совсем стала маленькой и сказала:

— Марья Васильевна, я хочу отравиться.

Марья Васильевна сдвинула очки на лоб, строго посмотрела на нее голубыми глазами и выпятила белые подбородки:

— Ну, чего хорошего? Ну, полиция придет, начнутся допросы, да рыться начнут, меня беспокоить, жильцов всех, — да не оберешься. И то сказать, должна ты мне, Тонечка; я тебе верю, верила и буду верить. Выбрось ты из головы. Да на твоём месте всякая не знала бы, как бога благодарить. Иные, которые от хоззяк, так ведь они в ярме, а ты у меня замест квартирантки, сама госпожа, как обыкновенный человек, и

билет у тебя обыкновенный. Да и то сказать, не век же так будешь: соберешь денег, переедешь в другой город, никто не будет знать, выйдешь замуж, детки будут...

Марья Васильевна помолчала и ссунула очки на глаза:

— И-и, господи... как в девушках, думаешь — замуж выйти — нивесть что. А им что, — сорвал цветок и лупает глазами, где бы еще. Я шестнадцати годов выходила. Мой-то, как на веревочке, за мной ходил. Родился первый ребеночек, и началось. Не то что перестал любить, а уж никогда не было того, что как невестой была, да первое время, что поженились. К тебе ходят, так ты можешь не принять, али закапризничать, али другой у тебя, он и дорожит, и боится...

— Я, Марья Васильевна, вот так... — она сдавливает ей холодными пальчиками руку, захлебнувшись, судорожно втягивает воздух и, запрокинув, в мелкой дрожи глядит с минуту узенькими белками, — ...а он и обомлеет, — и звонко расхохоталась.

— Ну вот. А жена — своя, как кровать или должность. Ты каждый раз ему новая, а жена все та же. Дети у меня умирали, осталась одна девочка. И вся жизнь ушла, чтоб воспитать девочку. Уж забыла, как люди веселятся, только труды, только заботы, да брань, да недостатки... Мой-то оболтус, видала, байбак байбаком. Тогда он служил швейцаром, служил контролером на скачках, а потом сколько лет капельдинером. Конечно, нужда, труды, а все жили. А теперь лежит брюхом кверху, все должность ищет. Лежа-то, немного

наищешь, кобель под нос не положит. С дочкой трудно было. В гимназию отдала. Пока маленькая была, я так и сяк. А как стала подрастать, горя набралась — все видит, все понимает, а тут актеры, знаешь, какой народ. А мне хотелось все за студента. Стала студентов пускать, даже дешевле брала против других. И с студентами надрожалась. Бывало, заберутся к себе в комнату, а я места не найду, бог их знает, что у них там. Измучилась.

Тонечка слушает, и ей так хочется, чтоб она была действительно дочка председателя и воспитывалась в пансионе.

— Ну, слава богу, посватался, женился, теперь на Кавказ уехали, место получил. Скучает, пишет, ребеночка ждет; полетела бы к ней, да куда за тысячи верст, да и байбака своего некуда деть. Вот и все, и тяну тут неизвестно зачем, покуда не отволокут.

*

Марья Васильевна давно возится на кухне с обедом. Тонечка, зевая и не зная, куда себя деть, слоняется по комнате непричесанная, неодетая. То мимоходом открывает подаренный альбом с неприличными карточками, то подолгу стоит у окна и смотрит, как воркуют и любят голуби на противоположном подоконнике. Нечего делать, и она потягивается, хрустя пальчиками.

Стукнув в дверь и не дожидаясь ответа, влетает девочка лет десяти с торопливо-подвижным лицом и ни-

чего не упускающими глазами. Волосы ее кокетливо собраны маленьким шишом на маковке.

Она бросается к Тонечке.

— Дуся, что ж ты не одеваешься? Скоро час.

— Лиличка, так спать хочется, не вы-ыспалась.

— Кто у тебя был?.. Это — бенедиктин?

Девочка подхватывает липкую бутылку и приставляет к горлышку раздувающиеся ноздри.

— Интеллигентный тип был или так себе?

— Он, никак, в банке.

— Крепко тебя любит?..

А сама уж не слушает, схватывает стакан, делает вдохновенное лицо, относит небрежно стакан в сторону, потемневшие глаза мерцают, и поет:

— Мо-ой ма-а-ленький ста-а-кан... но-о пью-у-у из моо-е-го ста-а-ка-а-на...

— А ты будешь актеркой, — говорит Тонечка, восхищенно глядя на девочку.

А та уже другая, и искорки шаловливого смеха прыгают по губам, в глазках, по веселому личику.

— Артистка, а не актерка. Папа говорит, у меня есть данные. А те скандалили?

— Скандалили. Марья Васильевна приходила, сидела, рассказывала, велит им с'езжать.

— Пойдем конопатого посмотрим.

Схватившись за руки, с хитрыми, прокудливými за-ячьими лицами, сдерживая рвущийся смех, выскочили в коридор, на-цыпочках, балансируя руками, подобрались к двери студента, и, оттаскивая друг друга, фыркая

и затыкая платками рот, то одна, то другая прилипали к замочной скважине.

Студент сидел за столом спиной к двери, опершись рыжей головой на руки, и с непонятным азартом, с ожесточением дудел:

— ...институт наследственного права подвергся с тех пор коренной переработке...

Потом вскочил, хрустнул на всю комнату пальцами и стал ходить из угла в угол.

В замочную скважину не было видно его лица, но в фигуре, в напряженно изогнутой шее, на которую падал красный отсвет волос, было столько искаженного, что обе присмирели и по очереди прикладывали круглый глаз к замку.

— Елена! — раздался в коридоре барский, каким играют на сцене важных людей, с хронической хрипотой бас.

Девочка отскочила и на-цыпочках перебежала коридор. Тоня исчезла у себя.

Актер, породистый, бритый, в крупных актерских складках по лицу, в котором барская повадка, сказал:

— Ты куда же исчезла. Заваривай, — и пустил ругладу баритонально, перекаtywаясь все ниже, все гуще, пока не задрожало в труди глубокой сиповой октавой.

Леночка умело возилась около бунтовавшего самовара. На столе валялись роли, ноты, остатки колбасы, ломбардные квитанции, на гвозде возле двери — огромный, запыленный, обсыпавшийся лавровый венок. В тесненькой комнате накурено, душно; с неубранной кро-

вати и осевшего турецкого дивана, на котором спал актер, сползли на пол углами несвежие простыни.

Леночка заварила чай, открыла окно; ворвался свежий воздух, уличный гул и слабый, бог весть откуда, запах лопающихся почек.

Актер раздумчиво стоял в позе, отставив ногу, и слегка, спокойно, уверенно дирижировал рукой какому-то звучащему внутри мотиву; между желто прокуренными пальцами дымилась папираса. Выражение лица, фигуры, каждое движение, полные сдержанного достоинства, все, что выработалось под тысячами глаз, никогда его не оставляло, даже когда был один. Это свое благоприобретенное лицо он так же носил неотъемлемо, как и то, с которым родился.

Да вдруг о чем-то вспомнил, что-то пришло в голову, и, сдержанно пуская рулады, как будто мурлыкал очень большой старый кот, вышел в коридор, все так же красиво держа слегка на отлете кисть руки с дымящейся папирсой.

На секунду приостановился перед Тонечкиной дверью, потом, толкнув, вошел.

Тонечка причесывалась, ахнула и села, с'ежившись, в кресло, зажимая руками расстегнувшуюся кофточку на груди и подняв колени в красной нижней юбке.

— Э-э... мма-де-му-а-зель, — делая жест рукой, чуть картавя, басом, улыбаясь снисходительно, тянул актер, гибко растягивая крупные, послушные резиновые губы, которые поминутно меняли ему лицо, — mille pardons!..

— Нет, нет, нет...

Тонечка затрясла головой, испуганно глядя исподлобья, забираясь все глубже в кресло.

— ...нет, нет...

— *Gra-ande co-quette!*.. хе-хе-хе...

— ...нет, нет, нет...

Он взял ее двумя пальцами за подбородок, поднял лицо и стал глядеть замасливающимися глазками.

— *Gra-ande co-quette!*..

Она нырнула под руку и стреканула к двери. Он поймав, посадил на колени.

— Я буду кричать.

Он оттянул, ничего не понимая, нижнюю губу.

— Ссс... пэ-эзвольте-с... с кем вы имеете дело... Извольте-с десять, пятнадцать... — недоумевающе и возмущенно доставал он пустой кошелек, придерживая ее одной рукой.

Тонечка куснула его за палец и, как мышь, юркнула в двери. Ей мучительно хотелось отгородить уголок, где бы она была просто девочка, Тонечка, за которую так же нужно бороться и дрожать, как за дочку Марьи Васильевны. И Марье Васильевне нравилось, что она чистоплотная кошечка, и в доме ничего не заводит, а то, чего доброго, и байбак протянет лапу.

Актер, глухо, где-то в пищеводе перекатывая руладами, пошел к себе.

Лиля глянула на обвисшие складки вокруг глаз, всплеснула руками:

— Папочка, да ты чистый бульдог!.. Ну, бери же стакан, чай давно остыл.

— Экая скверная девчонка! Сколько раз говорил— крепче, не могу же я бурду пить...

И, лагая языком за щеками и подымая брови, стал подбирать обвисшие на лице складки.

*

После предложения Марьи Васильевны с'ехать с квартиры в комнате судейского прекратились шум, стук, крик, брань, и каждый день аккуратно в восемь с половиной утра судейский, чисто выбритый и одетый с иголки, с портфелем в руках уходил на службу.

Марья Васильевна успокоилась, и Тонечка ей рассказала:

— Раз я подкралась к ихней двери, — уж очень мне захотелось, Марья Васильевна, подсмотреть, что у них там. Ну, я стала на колени возле двери да приложила глаз к скважине в замке. Она в кресле, а он около нее на коленях стоит. «Ты мне, — она-то говорит, — ска-жи правду, я ни волноваться, ни бранить не буду, ну только скажи: изменяешь?» — «Слушай, — он-то гово-рит, — что ж мне для твоего удовольствия — врать: не изменяю, а сказать изменяю? Подумай, — это он-то ей, — так соврать, не рюмку водки выпить». — Да поло- жил голову ей на платье, да как зарыдает, ну до того,— плечи трясутся, до бесчувствия, а сам никак выговорить не может: «Зачем мы мучаемся?... зачем?... зачем?..» А у ней глаза широкие, как в горячке, блес-тя-ят, бле-стят... Смотрит сама в пол, мне жутко стало. Потом стала гладить его по волосам; потом нагнулась к нему

и шепчет — губы синие: «Нам отравиться надо». А он спрятал лицо, только плечи дергаются: «И этого, — говорит, — не сумеем». Она упала головой на него и затряслась. Он ревет, она ревет, и я стою на коленках возле двери, реву, ничего не вижу.

У Тонечки полны слез глаза. Она торопливо поморгала и сказала печально, глядя в окно:

— Зачем замуж выходить, как так колотиться?

И глянув на Марью Васильевну, вся засиявшая, сказала с милой улыбкой:

— А я бы вышла.

Марья Васильевна опять забеспокоилась:

— Ведь этак и впрямь отравятся, то-то наделают хлопот,— не оберешься. Да тут хоть святых вон неси, хоть от квартиры отказывайся, прославят на всю округу. Спаси и помилуй, царица небесная. Пойду, надо ее урезонить, али беспамятная настолько, не может глянуть, как есть жизнь настоящая.

Елена Александровна, напевая, ходила по комнате, наклоняясь, подбирая кусочки цветного гаруса, оброшенные на ковер.

Быстрым нервным движением подняла тяжелую от буйно облегших белокурых волос голову и глянула веселым глазком:

— Марья Васильевна, сколько лет, как вы перестали танцевать?

— И-и, господь с вами, Елена Александровна, об том ли мне вспоминать. И уж не помню. А вот хотела об чем с вами поговорить...

— Знаю, знаю о чем... я вам сейчас станцую...

Елена Александровна быстро, как девочка, убежала в другую комнату, выбежала оттуда с бубном и, разом ударив и подняв над головой, только перегибаясь и качаясь, как лозина, пошла вокруг Марьи Васильевны, звеня и гудя бубном и следя за ней хитрым, смеющимся глазком.

Она носилась вокруг комнаты все задорней с дикими выкриками, неуловимо гибкая, как змея.

— Свят, свят, свят...

Марья Васильевна стояла, боясь сдвинуться с места. Мимо нее мелькала трепещущая яркая юбка, копна белых волос, от которых тянулись в воздухе золотые струйки.

Жалобно звеня, покатился бубен. Торопливо дыша, откинулась на диван.

— Жалко, что вы одни, и никого больше нет. Хорошо танцую?..

Вдруг лицо стало тонкое, губы повело, и глаза злобно обожгли Марью Васильевну.

— Свят, свят, свят...

— Я его терпеть не могу... Думаете, тихо, так ничего нет... Вот, вот, вот...

Она стала рвать на себе рукав тонкой кофточки.

— О, господи!..

Марья Васильевна перекрестилась слегка дрожащей рукой.

— На-те, смотрите... на-те!..

На обнажившейся руке темнели синяки.

И вдруг закатилась хохотом.

— Думаете, тихо. А это он схватит за руки и держит, пока я не устану, а то бы я ему... и все молчком, молча, чтоб никто не слышал.

Марья Васильевна опустила на ближайший стул, придерживая живот.

— И за что вы его так?! — горестно всплеснула руками.

Та придвинулась к самому лицу, глядя злыми глазами:

— Вы думаете, он не изменял?.. Ведь они все так, кого ни возьми... с шестнадцати лет все знают, а некоторые с двенадцати... нельзя доверять. Хоть даже правду говорит, — это только ртом, перевернется, а уж он другой. У-уххх... я их знаю...

И она постучала маленькими кулачками друг о дружку. И проговорила медленно, глядя широкими глазами:

— Да даже если не изменяет, все равно, не терплю... Теперь я его мучаю, а он отдает мне страсть, обнимает — посмотрите, какая тонкая у меня талия. Как у змеи... — она охватывает себя кругом пояса, стараясь, чтоб сошлись пальцы,— целует молодые глаза. Господи, как над ним теперь можно измываться... А как отцветать стану, разве пощадит? Как бы ни любила, как бы ни отдала душу, тело, молодость, как первые морщины,— он уж не такой, уж другой... Ведь всегда, везде, со всеми так... И со мной так будет! Ну так я ж ему отомщу... Я ж ему покажу. Не виноват? а я виновата?.. а я виновата... я виновата...

Лицо стало маленькое, стянулось в кулачок, и снова пролегла сухая черточка затаенного, истерически готового прорваться крика, удерживаемого тонким изгибом змеиных губ.

— Я отомщу за всех... ох, как отомщу!..

*

— Ну, я так хочу, — настойчиво говорила Елена Александровна мужу, а золотая коса короной лежала, обвиваясь вокруг головы, — хочу.

— Да ведь, послушай, неловкость выйдет, пойми, товарищей приглашу...

— Хочу.

— Слушай, Леля...

— Ну, вот хочу и хочу...

Тот пристально, с разрастающимся почти в ненависть раздражением поглядел ей в глаза, в лицо, и вдруг ком подступавшей к горлу злобы стал таять. Он засмеялся.

— Ну, да ладно. И выдумщица же та, Леля, — никому эдакое в голову не придет.

Она обвила его шею руками, точно прилипла, отодвинула побледневшее лицо с глазами, в которых не потухли еще искры не то злобы, не то всеотдающей любви, поглядела с минуту на него, поцеловала, слегка оттолкнула:

— Ну, иди, милый.

И начались приготовления.

— Елена Александровна, что же вы меня обижаете, — говорила Марья Васильевна, и ее добрые голубые

глаза стали наливаться слезами, — ну, какая я экономка на старости лет. Господи боже мой... да уж лучше уйду на этот вечер.

У Елены Александровны по лицу пробежала судорога готового гнева, да вдруг ласково засмеялась:

— Ну, ну, ну, ладно, ну, будете моей дальней родственницей, тетушкой, из провинции приехала. Хотите?

Марья Васильевна растерянно развела руками:

— И уж не знаю... отпустите вы душу мою на показанье, родненькая Елена Александровна...

— И думать не смейте. Кто же за всем присмотрит? Дальняя тетушка из провинции приехала, — и все.

Марья Васильевна бессильно покорилась.

— Только вы уж поменьше разговаривайте. А то лучше совсем не разговаривайте, молчите — и все.

— Да уж воды в рот наберу.

Со студентом было труднее. Он мотал огненной головой и твердил:

— Не понимаю, зачем я-то тут.

Елена Александровна нервничала.

— Ну, я прошу вас... ну, прошу. Не трудно же вам. Из вашей комнаты как раз маленькую гостиную надо сделать.

— Комнату берите, пожалуйста, — я на эту ночь у товарища устроюсь.

— И думать не смейте. Послушайте, ну, как вы не поймете, ведь последний раз. Господи, так хочется красиво пожить, хоть разок, по-особенному... Вы ведь знаете, мужа в Архангельскую губернию назначают, так это будет прощальный вечер. Там заберемся в та-

кие трущобы, глушь, безлюдье, голоса человеческого не услышишь, одни карты, — мне уж рассказывали.

Он глянул на ее пышным золотом обвешанную головку, на водяные, русалочьи глаза, на тонко и гибко выбегающую из-за пояса талию, и дикая, нелепая мысль вдруг встала: обнять ее молча.

Но вместо этого он сказал, тряхнув огненной копной:

— К вашим услугам, располагайте мной и комнатой, как найдете нужным.

— Спасибо.

Тонечка виновато стояла перед Еленой Александровной.

— Вот что, Тоня, ты тоже будешь на вечере.

— Я боюсь, Елена Александровна.

— Не твое дело, слушай, что говорят. Покажи платье. Ну, да, это можно... вокруг шеи кружево прихватишь. Есть? Ну, отлично. Никаких бантов, — тогда покажешься мне предварительно. И, пожалуйста, в разговоры не пускайся. Да-да, нет-нет — и будет с тебя. Тоже из провинции приехала.

— Я боюсь.

— Молчи. Будет тапер, можешь танцевать.

— Я умею, уроки брала.

— Нет, не смей, просто будешь скромно сидеть в уголку... или хотя можно... впрочем, нет, я тебе скажу тогда... Шею хорошенько вымой...

Когда муж Елены Александровны узнал, что и Тонечка будет, то побагровел, потом побелел, как плотно

— Это же чорт знает что... безрассудство, истерика какая-то... Ты бы уж с панели набрала... А вдруг кто-нибудь из моих товарищей знает ее — как ее гость?..

— А я хочу, ну, хочу, и все. Не такой человек? Да она, может, лучше вас всех в тысячу раз... А-а-а, испугались... попользоваться — да и в сторонку... Может, и ты пользовался...

— Сумасшедшая!..

— Хочу, чтобы она была, хочу, хочу... понимаешь ты... Это мерзость, это низость... Ах, боже мой, какие вы все подлецы!

Она упала лицом в диван, стала биться в злой истерике, сейчас же подняла исковерканное слезами лицо и сказала, всхлипывая:

— И потом... у нее... такая... чудесная... комната... как это ты не поймешь... лучшую столовую и не придумать...

Он махнул рукой, пошел к двери, да остановился, постоял, понутив голову, как будто перед ним мутно пробежали эти два года их совместной жизни, и сказал осунувшимся голосом, в котором ни злобы ни раздражения, а одна непроходящая усталость:

— Да у нас все вверх ногами. Ведь мы не живем. Ни у нас никто, ни мы ни у кого. Среди огромного города, как в захолустье, как в лесу.

— Ну, да, — жалобно подняла она заплаканное личико, — тебе бы хотелось, чтобы у нас ежедневно все дамочки хорошенькие собирались, а ты бы среди них, как султан, распустился...

— Куда уж там дамочки, людей ведь, наконец, хочется. А то в кои-то веки надумали устроить вечер, и не нашли ничего лучшего, как проституток набрать со всего города.

— Молчи!.. — закричала она с высохшими мгновенно глазами.

Приготовления закипели.

Актер занял у Марьи Васильевны и побежал выкупать из ломбарда фрак.

Привезли взятую на прокат мебель, портьеры, ковры, картины, посуду. Двери в смежных комнатах отклеили и растворили. Все лишнее повытаскивали и свалили в актеровой комнате, завалив ее до потолка. Комнаты целый день проветривали, брызгали лесной водой, одеколоном.

Когда настал вечер, все ахнули: из двери в дверь тянулись неузнаваемые комнаты, ярко освещенные, мягкие от бархатной мебели, от пушистых ковров, от строго спускающихся портьер, и, всюду разливая жизнь, живыми пятнами проступали цветы.

Горничная с крылышками на голове и лакей во фраке с белой грудью и в белых перчатках готовили чай в Тонечкиной комнате.

— Слушай, Леля, но я вот чего боюсь. Представь, явится франт и потребует Антонину, ведь скандал.

Елена Александровна посмотрела на мужа, лицо передернулось. Она хотела ему сказать оскорбительное и злое, да бросилась к лакею и, тряся его за борт фрака, торопливо, захлебываясь, заговорила:

— Гоните в шею. Тут, может быть, явятся подозрительные господа... такие... особенные... понимаете... ну, ловеласы... фу, какой вы!.. усы кверху, их сразу узнаешь... в шею... без разговора с лестницы...

«Ну, и сыпет, как язык успеваешь... Чисто молотилка у вас на деревне, только солому успевай подавать»...— подумал лакей и сказал почтительно:

— Слушаю-с.

Собрались гости, человек десять, — кандидаты на судебные должности, два, три молоденьких адвоката, несколько товарищей по университету, кое-кто из сослуживцев, — все молодежь, беспечная и вольная, готовая побалагурить, выпить, поухаживать.

Из пожилых был только судебный пристав с женой. У жены пристава — мясистый нос и уши по сторонам, как у летучей мыши.

Из дам ни с кем не водила знакомства Елена Александровна, а для этой сделала исключение.

*

Пили чай в Тонечкиной комнате.

Посредине тянулся длинный стол. Серебряные живчики ослепительно играли в хрустале, и пятна цветов, лица людей, говор и смех вливали во все жизнь.

Чай разливала Марья Васильевна, поджав губы и сделав два подбородка. И когда к ней, исполняя долг вежливости, любезно обращался кто-нибудь из гостей, она, приподымая белобрысые брови и улыбаясь плотно сжатыми губами, на все одинаково говорила:

— Мм... угу... — памятуя наказ Елены Александровны.

Возле нее примостилась Лиля, ничего не упуская, все ловя живыми, острыми детскими глазками.

Ее сначала решено было не пускать, но она так горько, с таким отчаянием, зарывшись в подушки, рыдала, что ей позволили быть на вечере.

Елена Александровна сидела в другом конце стола, не наклоняя гордой головки, как королева, в царстве которой все само собою идет строго и в порядке, и оживленный почтительный говор мужчин, постоянно к ней наклонявшихся, колыхался, не смолкая.

Актер, оттопыривая хорошо выбритую нижнюю губу и играя голыми складками, барским крупным голосом, роняя его до октавы, рассказывал о постановках в лондонском королевском театре.

Студент сначала конфузился и все ерошил пятерней свою огневую гриву, потом осмотрелся и успокоился и теперь уписывал с чаем конфеты и пирожные и обрадованно беседовал об уголовном праве с соседом, молоденьким помощником присяжного поверенного, который тоже конфузился и сидел, не сгибая туго крахмальной на груди сорочки. Они называли друг друга «коллега» и предупредительно придвигали друг к другу конфеты, пирожные, чай.

Тонечка худенькая, хрупкая, сидела с сияющими глазами. Щеки нежно розовели. Тоненькие черточки от носа к губам придавали ей невыразимую прелесть детской беспомощности.

Она, как в тумане, видела милые, молодые, оживленные глаза, как в тумане, потому что ее девственное тело было так далеко от них, так чисто и нетронуто под легкой сиреневой кофточкой со строгим высоким воротником у горла, и кофточка легонько шевелилась от сдержанно-взволнованного дыхания.

Наглые, маслянные глаза, цилиндры на затылках, запаха вина, смешанный с запахом мужского дыхания, и судорожно-сжатая захлебнувшаяся маленькая ручка во круг большой мужской руки, все это смутно, как воспоминание, неясное, неразбуженное воспоминание тонуло позади.

Большими открытыми глазами смотрела она, как уходили голубовато через раскрытые двери одна за одной незнакомые чудесные комнаты.

— Изволили быть на весенней выставке?

— Нет.

— И хорошо сделали; одни перепевы, все старое, ничего, что бы несло свежесть, надежду.

Он говорил долго, ласково и, кажется ей, необыкновенно убедительно. Это ничего, что она не понимает. Она слушает с сияющими точечками и только: «да», «нет»... А иногда запутается и растерянно заторопится: «да... нет... нет... да... нет»...—и мучительно покраснеет.

В столовую странно и тревожно долетел из передней шум:

— Куда лезешь... тебе говорят...

— То-есть как куда лезу? Это квартира № 16?

— А хоть бы и шестнадцать. Тебя это не касается.

— Да ты с ума спятил?

Тонечка помертвела, и неотвратимо пронеслось:
«Выброшусь из окна»...

Елена Александровна откинулась на спинку стула, до крови закусив губу.

Студент уронил зазвеневшую на полу ложечку.

У Марьи Васильевны по-птичьи округлились глаза.

А на лестнице все разрастались разгорячавшиеся голоса.

— Да что за нахал!.. Какое ты имеешь право?!

— Я тебе дам право... Турманом у меня ахнешь по лестнице... Поворачивай оглобли... Ишь, ты, хлюст!..

Елена Александровна сорвалась и бросилась в коридор, за ней муж, потом Марья Васильевна, шепча:

— Свят, свят, свят...

Выскочили на площадку.

Молодой человек в котелке и с усами кверху держался за перила, а лакей, упираясь, спихивал его вниз,— оба были красны и потны.

— Ты с ума сошел... — крикнул хозяин, отталкивая лакея.

— Григорий Николаевич... Елена Александровна... что это такое?.. этот суб'ект все с лестницы норовит меня опустить...

Хозяин подхватил гостя за талию и повел в квартиру.

— Простите, дорогой мой... недоразумение... Жалуйте, жалуйте... страшно рады, и я и жена... чорт его... этот дурак...

— Понимаете, — говорил гость, — отдуваясь, снимая пальто и целуя руку у Елены Александровны, —

только я позвонил, выскакивает этот гусь и во все горло: поворачивай оглобли! Постой, да это такая-то квартира? Я приглашен сюда. И слушать не хочет. Я так, сяк, куда-а! и на козе не под'едешь.

Гостя увели в столовую, а Елена Александровна, вся дрожа от негодования, накинулась на лакея:

— Да как вы смели?.. как вы позволили себе... вон сию же минуту...

Лакей стоял, испуганно моргая, вытянув руки по швам.

— Простите... как вы приказали...

— Приказа-али... Заставь дурака богу молиться...

— Простите, спознался... Главное, котелок у них на затылке... Теперь я понимаю, это они уставши по лестнице, а я смутился, счел — хлюст...

— Какой же вы дурр-рак!..

Лакей передохнул и посмотрел вслед.

— Угоди ей, — на третий день сдохнешь.

За ужином было оживленно и весело.

Жена пристава сказала:

— У вас, Елена Александровна, премиленькая квартира, я даже и не подозревала.

Она сидела лопоухая, с толстым носом, и не было больше дам; от этого Тонечка казалась прелестным полевым цветком, а Елена Александровна — красавицей.

А пристав думал: «не то будут карты, не то нет».

Кандидат на судебные должности, которого выпроваживал с лестницы лакей, резко постучал ножом о тарелку, поднялся и строго посмотрел на всех сквозь золотое пенснэ.

Говор, падая, воровски разбежался и притих. Все повернули головы к кандидату.

Он на минутку прислушался и резко поднял голову: — Господа, позвольте быть нешаблонным. Обычно спичи за ужином говорят по трафарету, потому что вообще за ужином говорят спичи. Мне же сейчас хочется сказать то, о чем сердце просит. Может, не сумею, не так, неуклюже, — уловите с полуслова, помогите сами. То, что я чувствую, чувствуют — это я чувствую — не улыбайтесь, не улыбайтесь... — чувствуют все, — это особенный теплый уют, душевный уют, который разлила, — он сделал широкий жест рукой, — здесь женская рука. Наш брат, одинокий холостяк, вечно мятущийся в жажде остроты наслаждений, мятущийся с смутной боязнью жениться, вдруг ощущает всю теплоту, всю прелесть уюта, созданного женской рукой... И не во внешнем только и не в ослепительной белизне скатерти, не в изяществе сервировки — что внешность! а в том незримом ощущении...

Елена Александровна строго опустила глаза, ни на кого не глядя, не слушая:

«Я его люблю, люблю его, моего Гришу. Мы дрались? Когда дрались? Глупости, никогда не дрались... Господи, пусть скорей уходят... Как я его буду любить, ласкать, целовать... Когда же его и любить, как не теперь, когда я молода, когда мной любят, не тогда же, как сделаюсь старой каргой... Ах, как надо дорожить каждой минутой ласки и нежности... Когда же, наконец, они все разойдутся... Господи, как бы мне не закричать: пошли вон, дураки!..»

Она больно ущипнула себя, а кругом закричали, хлопали в ладоши, потянулись со всех сторон с блестящими рюмками, и всюду ласковые лица, белые сверкающие в улыбках зубы, кланяются... гул пожеланий... и... и ласковый долгий взгляд любимого человека...

«Боже мой, как же это я не знала, что так чудесно жить на свете».

Потом говорил еще кто-то из гостей, потом Гриша, потом опять гость, но не все ли равно? Не все ли равно, что они там говорят, когда она знает одно, что не было и нет никаких неприятностей, боли и горечи, что вот всегда так заливает этот ровный спокойный белый свет спокойную ласковую жизнь.

После ужина перешли в гостиную.

Елена Александровна подошла к скромно стоявшему во фраке в сторонке таперу — его представляли всем в качестве гостя — и стала просить сыграть что-нибудь. Он слегка поломался, подошел к роялю, откинул фалды фрака, сел, подумал и сыграл Шопена.

Слегка похлопали, опасаясь, что он опять начнет играть — молодежи хотелось побалагурить, посмеяться.

Актер подошел к роялю, взял аккорд и сказал небрежным густым басом:

— Да, Шопен, это я понимаю. Не чета современным... Старое золото не тускнеет... Я вот, например, когда выступаю, всегда исполняю старых авторов... — и небрежно пустил октавой руладу в тон аккорду.

— А вы нам спойте что-нибудь, — сказала жена пристава, — так хорошо послушать после ужина.

Актер кисло улыбнулся и уронил небрежно:

— Да-а... что ж... мм... как-то... что-то... после ужина... — и опасаясь, что поднявшийся кругом оживленный разговор упразднит его пение, поспешил сказать, притрагиваясь слегка к кадыку, — так что-то после ужина... в горле... хотя можно... — и громко, чтоб заставить говоривших замолчать, кашлянул октавой и что-то сказал таперу.

Тот взял аккорд, разговор нехотя стал стихать, и волей-неволей все разместились, кто в креслах, кто на диване, кто у окна пристроился.

Актер положил руку на спинку стула и большой палец другой руки заложил за жилет. Стоял неподвижно, дожидаясь такта во вступлении, которое делал рояль. Голое в складках лицо было каменно-неподвижно, как и сам он, и глаза равнодушно и свысока смотрели мимо приготовившихся слушать.

И вдруг перекосил рот, необычайно растянул губы и... заговорил, потому что голосу нехватало, заговорил речитативом, выделявая то басом, то октавой.

Ди-тятко! ми-лость господня...

Что ты не спишь до полночи глухой...

Все разом стали смотреть под стол и под кресла.

Тонечка мучительно низко наклонила русую головку, и из-под насунувшейся косы пылала щека. Только Елена Александровна, слегка побледнев, впилась в него горящими, ненавидящими глазами.

Но ему было все равно.

Дай я тебя хоть шуу-бенкой...

Весь ты-ы дро-о-жишь, а го-о-ря-чий ка-а-кой...

Понемногу то один, то другой подымали на актера глаза и кто поднял, уже не отрывался, не мог оторваться, потому что пел актер не голосом, не горлом, а пел мучительно лицом.

Он так же неподвижно стоял, положив руку на спинку стула, заложив большой палец другой руки за жилет, а голые бритые складки горько сползались к глазам, точно он их собирал в пригоршню, мучительно изламывались брови, собирая кожу на лбу, шевеля волосы, даже уши шевелились, то все распускалось, и тогда голое лицо смотрело наивно-усталыми, измученными глазами.

Ма-а-ма, гляди-ка... всё-о све-е-чи, да све-ечи...
...Ма-а-ма... тем-не-ет... мне ду-уш-но...

На него смотрели, не отрываясь, слушая за этим чревоуещанием, за хриплым басом, какую-то иную, не выговариваемую словами песню.

Лиля, забыв обо всем, стояла перед отцом и смотрела широко открытыми глазами в его перекошенный, то закрывающийся, то открывающийся огромный черный рот.

Только Елена Александровна теперь не смотрела на него, опутив смягченные, влажные глаза; она знала, о чем он поет.

Но странно, размягчившееся, полное жалости сердце вдруг отвернулось от него, а переполнилось снова нахлынувшей волной бесконечной нежности к мужу.

«Нет, никогда, никогда я ни одним словом, ни одним движением не причиню ему боли... милый, ми-

луй!» — и она снова с бесконечной любовью глянула на мужа. Он сидел спокойно, как всегда, и смотрел — слушал.

А актер кончил, выждал, пока смолкли последние аккорды рояля, достал платок и приложил ко лбу и лицу.

Все молчали.

Вдруг прозвенел, нарушая, детский голос:

— Папочка, да как же ты чудесно поешь!..

Лиля схватила и чмокнула большую руку отца.

Все облегченно задвигались, заговорили и, чтоб не обидеть, аплодировали.

— Да, вот они старые романсы...

— В исполнении дело...

— Да нет, трогательная простота, которой нет в нынешних изломанных вещах...

Актер снова важно, с барской повадкой, снисходительно играя лицом, стал объяснять из'яны современных композиторов.

Елена Александровна захлопала в ладоши:

— Господа, танцевать...

Томительные звуки вальса, мягко качаясь, поплыли в гостиную.

Курительная была устроена в маленькой крайней комнатке, и молодежь бегала сюда курить.

Курили, стоял говор, насмешливо перекидывались:

— Я с тетушкой пробовал заговаривать, так она сожмет губы и только одно: «угу»... — как воды в рот набрала.

— Не умеешь с тетушками беседовать.

— А певец-то... чревовещатель...

— Нет, это что, вот ушастая-то, вот феномен...

— Один нос фунта полтора.

— Тише, не распускайте языки...

— Когда я путешествовал в Африке, — улыбаясь я не выговаривая *p*, заговорил белобрысый, с белыми, как лен, бровями и усиками, — видел летающих собак — точь-в-точь уши растопырены.

— Расскажи своему деду... Это ресторан «Африка», знаете, на углу? Ну, так у него после бутылки коньяку перед глазами посетители начинают летать, — и все с собачьими мордами.

Смех, сверкающие в табачном дыму лица.

Дремотные звуки вальса смутно просятся сквозь закрытые двери. А когда дверь на минутку открывают, звуки ярко врываются, и в зале, видно, мелькает относимое движением легкое сиреневое платье и черная тяжелая юбка. Прихлопнется дверь и снова томительно и смутно плывет далекое, смягченное, напоминая о невозвратном.

Курительная опустела. Остались двое. Один курил, присев на угол стола, другой задумчиво ходил, заложив руки назад и глядя под ноги.

— Да. У меня такое ощущение, точно пойманную птичку подержал в руках, а у нее молящие глазки и крохотное, тревожно бьющееся сердце.

— Кто она такая?

— Не знаю. Отец где-то председателем окружного суда, где-то в провинции.

— На курсах, что ли?

— Да нет, повидимому. Домашнее, видно. Слова у нее несколько странны, но, может быть, так просто, а то бывает нарочно, щеголяют этак некоторой утрированной простотой, народностью, — провинциалка.

— Да-а, ты целый вечер около нее, как на тесемочке.

Тот подошел к окну, постоял, припоминая, и опять стал ходить, глядя под ноги и заложив руки.

— Не знаю где, но я слышал ее голос. Я помню его тембр, выражение. Из тысячи голосов узнаю. И всегда прислушиваюсь о театре, в гостях, на собраниях. И странно, с этим голосом связывается представление о счастье.

— Ну, брат, дрянь дело: романтика пошла.

— И сегодня, когда она заговорила, вдруг точно толкнуло в грудь — она!

— Что вы тут, господа!.. Идите танцевать.

Снова ярко ворвался вальс, а в зале веяло легкое сиреневое платье и тяжелое черное.

Дочка председателя — ведь это действительно была дочка председателя — с упоением танцевала без отдыха, мелькая крохотными туфельками, положив маленькую ручку в перчатке на черное плечо кавалера и отвернув милую, наивную головку с выражением детской беспомощности.

Утро уже стало пробиваться сквозь занавесы, когда стали расходиться гости.

Все по-старому шло у Марьи Васильевны. Двери между комнатами давно заклеены, на окнах — те же старые будничные занавесы. Из-за плотно затворенной двери студента доносится: «источником обязательного права в древнем мире являлось...»

И по утрам Марья Васильевна приходит с рынка, — из сумки торчат желтые куриные ноги, — и выносит из Тонечкиной комнаты корзину пустых бутылок. Актер глубокой октавой пускает рулады, точно у него в желудке перекачивается, и говорит, случайно встречая в коридоре Тонечку и собирая складки:

— Э-э-э... здравствуйте, прелестная невинность.

Елена Александровна уехала, и в ее комнате уже новые жильцы.

Должно быть, за городом млели леса, лоснились под пробегающим горячим ветерком изжелта-темнеющие хлеба, и тени от лепечущих деревьев шевелились по траве.

А в городе стоял сухой, пышущий, каменный жар, шаги людей оставляли в размягченном терпко пахнущем асфальте вдавленные следы каблуков, и над улицами всегда висела дымная мгла, из которой, чувствовалось, не вырваться, и крыши нестерпимо блестели под неподвижно-сияющим маленьким солнцем.

Тонечка в новом шелковом балахоне спешила по мягкой асфальтовой панели, и растекающийся пот делал неровные потеки от наведенных по лицу румян.

Надо было переодеться — через час за ней заедет обожатель на автомобиле и повезет катать за город.

Тонечка задыхается от жары и быстрой ходьбы не может удержаться от тоненького радостного смеха — на нее оглядываются.

Господа, да что такое!.. Ей хочется вспомнить что-то радостное и нежное, что не дается памяти. И отчего так весело и радостно смотреть на божий день?

И... вспомнила: ведь это же идет председателева дочка.

Кто такая? Председателева дочка.

И опять засмеялась тоненько и заразительно, — на нее оглянулись.

И, удерживая радость, удерживая смех, вошла в ворота. Узкий двор, хоть и душен, был весел и звонок, оттого ли, что из-за крыши пробралась полоска солнца и окна верхних этажей нестерпимо блестят, не то от ребячьих звонких голосов, наполняющих двор до самого верха.

Увидя Тонечку, ребяташки бросились к ней гурьбой и заплясали, запрыгали, стали кувыркаться, как бесенята, и кричать:

— Конфетку! Дай конфетку... дай конфетку... да-ай...

— Ну, ну... нету... пустите... уже дам, а сейчас нету...

— Тонечке, наше вам двадцать два с прикусой, — говорит, проходя мимо и весело осклабясь, приказчик из соседней лавочки.

С Тонечкой всегда весело здороваются, непременно почему-то улыбаясь.

Все знают ее во дворе и околотке и относятся к ней добродушно, особенно матери ребятишек, которых она всегда кормит конфетами. Но под сердитую руку, выглядывая из придавленных к асфальту окон, бабы с раздраженными лицами иногда бросают вслед:

— А тут еще эта таскается...

Тонечка слышит, но гордо проходит, не оборачиваясь, только ноздри раздуваются, и мысленно бросает им скверное ругательство.

Проходит время, это забывается, опять все идет по-старому, опять все приветливо здороваются с Тонечкой, ласково улыбаясь.

— Погода нонче жаркая, — говорит красная, как обваренная, прачка из полуподвала, где, нагнувшись над огромными круглыми бадьями, стирают белье бледные женщины.

— Жарко, — приостанавливается Тонечка, — а у вас-то, там, думаю, страсть жарко.

— И-и не говорите, не продохнешь. Али собрались куды?

— За город, на автомобиле.

— Ну, ну, доброе дело. Теперича за городом легко дышать.

— Да-а-й конфетку.

— Нету же, вам говорят.

Тонечка пошла было да глянула на зеленый сапог и вспомнила — зайти, спросить, не починил ли башмаки.

Спустилась к сапожнику. Ей подали скрипучий стул. Она села, осторожно подбирая платье, ярким пятном выделяясь среди сора, копоти, паутины, полутемноты.

Сапожник, сидя на просиженном трехногом табурете под узеньким тусклым окном, торопливо колот шилом и тянул, разводя руками, дратву. Жена стучала большой сапожной машиной, протрачивая головки, а подмастерье работал в углу, где тоненько коптила лампочка — там и днем было темно.

— Ну, что, как, Николай Васильич, скоро мои почините?— проговорила Тонечка, чувствуя себя отделенной от них ярким платьем, модной прической и окружающим их сором, темнотой, неуютом и тем, что она почти каждый день катается на автомобилях. — Работы много?

— Работа завсегда, работа не переводится, это деньги только переводятся, — по работе ленивые плачут. А ваши к понедельнику аккурат будут.

— Я себе на прошлой неделе венские ботинки купила — вот каблуки высокие! Чисто ходить невозможно; дай, думаю, лучше старые починю.

— Нонче — что каблуки, что платья, не шагнешь,— сказала сапожница, продолжая стучать машиной.

— Маму-уня, — проговорила белоголовая остроносенькая девочка с заплетенной в косичку голубой ленточкой, — куда ее, оборочку-то, пришивать? — и показала матери одной рукой куклу в платье, а в другой держала иглу.

— Брысь, чего прилипла, — сердито бросила мать, так же торопливо гремя машиной.

Девочка подняла на Тонечку голубые, как васильки, глаза, держа растерянно в одной руке куклу, в другой-иглу.

Двое других с голыми ножонками сидели на полу друг против друга и таскали за ноги и за хвост привыкшую к истязаниям кошку.

Тонечка где-то в глубине, не поднимая груди, вздохнула.

Синие, как васильки...

И белые березки, и околица, за которой она бегала в такой же ленточке в косичке, и голос матери — голова у ней вечно в ушастом платке: «Тонюша, загони индюшат-те, кабы на дороге не подавили...»

И эти незабываемые, но уже чуть белеющие в воспоминании березки, и синие васильки во ржи, и синие глаза этой девочки, и двое, таскавшие покорно привыкшую кошку,— все отделило ее от людей больше, чем автомобиль, чем дорогое платье, будя несознанное, где-то глубоко живущее, точно пиявка, не больно, но всегда, не замирая, сосет.

А сапожница, гремя и не отнимая глаз от строчки, сказала:

— С краю прихвати и через край и шей.

Девочка радостно и торопливо села и стала заботливо шить.

Тонечка, опять задерживая, тихонько вздохнула, чувствуя, как кругом все помертвело, и заметила:

— Ну, так, пожалуйста, к понедельнику. Прощайте.

— Будет сделано. Бывайте здоровы.

Тонечка пошла к выходу, подобрав платье, прислушиваясь к торопливому шелесту шелковой юбки.

Во дворе снова охватил душный жар стен, едкий запах размягченного асфальта, блеск стекол в верхних

этажах, гул улицы, накатывавшийся в ворота, звонкие голоса ребятишек, которые, как бесенята, неугомонно скакали, бегали по асфальту, играя, ссорясь, тут же мирясь.

Увидя Тонечку, все бросились опять к ней, визжа, смеясь, подпрыгивая.

— Дай конфетку... дай конфетку... дай конфетку...

— Да нету, говорят вам...

— Дай, дай... у тебя есть... прежде давала...

— Фу, пустите... не трогайте меня... не лапайте, пальто шелковое запачкаете... не трожьте, сопливые, дрянь!..

— Дай!.. дай!..

Она испуганно отстранялась, приподымала пальто.

— Уйдите, вам говорю... да не трогайте... не смейте хвататься за пальто... вон пятно... ах, ты!..

Схватила одного назойливого за ухо и слегка потрепала. Тот заверещал, а ребятишки закричали:

— Как ты смеешь... шлюха!..

— Чего этакое у вас? — любопытно выглянула в окно прачка.

— Шлюха нас колотит, — кричали ребятишки.

— Ах, ты, подлая!.. — закричала прачка, — ишь, какую моду взяла!.. — и еще больше налилась краской, хотя детей у нее не было.

Ребятишки визжали, кидали в Тонечку сором, бумажками.

Выглянула в окно и прилизанная костлявая голова сапожницы.

— Чего такое?

— Эта вот Саньке вашему ухи надрала.

Голова сапожницы исчезла из окна и сейчас же появилась в дверях. Испитое лицо покрылось пятнами.

— Это ты что же?... Своих детей не было, не будет, так ты чужих?..

И, захлебнувшись, закричала пронзительно:

— Проститутка!..

Тонечка, с белым, как полотно, лицом, прилипла спиной и руками к стене и глядела огромными глазами.

Из разных мест над асфальтом показались из окон головы:

— Чего такое?

— Вот эта паскуда ребятишек наших бьет.

— Ах, окаянная!

— Последний человек — да куда люди...

— Проучить надо...

Тонечка рванулась от стены, вскочила в дверь и понеслась вверх по лестнице.

Добежала до первой площадки, сделала поворот, добежала до второй, перехватило дыхание. Остановилась на секунду, зажала сердце, надавила грудью перила и глянула в пролет: огибая поворот, с трудом справляясь с одышкой, торопливо подымалась сапожница, и красные пятна выступили у нее не только на бледных щеках, но и на шее. За ней — что-то кричавшая прачка и еще несколько человек.

А за ними, подшмыргивая носом, торопливо, чтобы не отстать, на четвереньках взбирались, хватаясь за ступени, двое — трое ребятишек.

Шум, сморканье, торопливое дыхание подымались по лестнице.

Тонечка опять бросилась вверх, путаясь в юбке, перехватывая перила, и, когда оглядывалась, видела спешившую за ней сапожницу и шептала, шелестя сумками, полопавшимися губами:

— Гонются...

Рванула звонок. Марья Васильевна открыла двери, с изумлением глядя.

— Али с цепи сорвалась?!

Тонечка на секунду задержалась, задохнувшись. Вокруг резко обозначившихся румян проступило смертельно-бледное полудетское лицо с горькими морщинами около рта.

— Гонются... — и бросилась в коридор.

Марья Васильевна пунцово покраснела.

— Да ты что, скандалы заводить?! Места не нашла другого? Вот и держи такую...

Тонечка глядела на нее остановившимися глазами.

— Мне скандалисток не надо... на все четыре стороны... скатертью дорога...

На шум вышел актер, заложив подмышками за жилет большие пальцы и играя остальными в воздухе.

— Что, прелестница, накуралесила?.. В участочек, что ли?.. Не хочется, поди?.. Хе-хе-хе, — добродушно засмеялся и, играя пальцами, пошел к себе.

На минуту показались рыжие патлы студента. Разобрав, в чем дело, он захлопнул дверь.

В коридор ворвалась сапожница. С площадки доносились голоса подымавшихся и улюлюканье ребяташек.

— Мы ее достанем... хоть со дна моря достанем!..

Тонечка юркнула в свою комнату. Марья Васильевна, крича тонким голосом, вытолкала всех из коридора, заперла дверь и пошла хорошенько пробрать Тоню. Это— новости! Не-ет, этого она не позволит. Хочешь стоять на квартире, так веди себя порядочно, а скандалов она не позволит!

Отворила дверь, в комнате никого. Марья Васильевна постояла удивленная.

Тоня!

В настежь открытом окне блестели стекла противоположных окон.

Марья Васильевна, тяжело перегибаясь через живот, чувствуя, как тает раздражение и нарастает тревога, заглянула под кровать, потом за шкаф и с облегчением увидела, что Тонечка сидит на полу с мокрым от слез лицом.

— Я им всем покажу! — закричала Тонечка, подняв изуродованное злобой лицо. — Все вы... — бросила она скверное ругательство, — всех вас терпеть не могу... Уйдите из моей комнаты!

И, не обращая внимания, злобно всхлипывая, стала протирать перед зеркалом растекшиеся от слез по щекам румяна.

Марья Васильевна постояла, глядя круглыми глазами, потом повернулась.

— Надо выгнать! — подумала она, успокаиваясь, и пошла к себе.

1915 г.

СТРАННАЯ НОЧЬ

Было не то что весело, но шумно.

Четверо сидели вокруг белевшего скатертью круглого стола, и всех спокойно и ровно освещала висячая лампа, а пятая присоседилась на диване, откинувшись в уголок, и лицо ее было в тени. Бунтовал самовар. Матово глядели промерзшие окна. На столе — нарезанная колбаса, сыр, дешевая пастила, бутылки с пивом.

Пропели, безбожно перевирая хохлацкие слова: «Як умру, то поховайте»... «Во саду ли в огороде»... «На севере диком»... Заспорили о значении воздухоплавания в переустройстве социальной жизни. Стали пить чай, и разговор, путаясь в смехе и шутках, прыгал с предмета на предмет, как веселый заяц.

Серые тужурки обоих студентов почти сливались с иссиня-сероватым слоисто плававшим дымом. Проступали только косматые головы, веселые молодые глаза да безусые лица.

Хозяйка с тем хорошеньким личиком, из-за которого берут продавщицами в будочки минеральных вод; она кончила гимназию и служила манекенщицей

в огромном модном магазине, — по всякому поводу и без повода заразительно хохотала, как будто говоря: «Ну, да, я знаю, это вы все для меня. Я привыкла. На меня ведь все смотрят», — и шаловливо-небрежно наливала чай.

— Ну, вот вам стакан, шалун.

— Хорош шалун, у которого скоро будут усы и который уж три раза успел провалиться по анатомии.

Другой закрыл глаза, поднял слепое лицо к потолку и монотонно-упорным дьячковским голосом заговорил, видимо, расположившись нескоро остановиться:

— *Musculus extensor carpi ulnaris* расположен около заднего гребня локтевой кости. Веретенообразное мышечное брюшко его начинается от покрывающей мускул фасции, а ниже — от диафиза...

Хозяйка заткнула хорошенькими пальчиками ушки и замотала кудряво-пышной головкой, визжа, как маленький розовенький поросенок.

Товарищ заложил в рот говорившего отрезанную от колбасы горбушку с кончиком просаленной веревочки.

— Вася, затормози.

Опустив тонкое задумчивое лицо над стаканом, курсистка в полосатенькой кофточке тихонько мешала ложечкой:

— Теперь в Ницце цветут розы.

Ее голос прозвучал точно издали.

— А вы были там?

— Нет.

Все засмеялись.

Акушерка сидела в сторонке, в тени высохшего, серого от пыли пандануса, положив руки на локотники дивана и голову на руки, посмотрела на компанию, проговорила:

— Чего же вы смеетесь? У нас вон окна белые, как замороженные мертвые рыбы глава, и на улице дыхание стынет, а там солнце и тепло.

Она не была красива, но молода, и, когда улыбалась, все лицо освещалось тонко и умно, и было видно, какие у нее чудесные карие затененные глаза.

Студент нежно держал пальцами за веревочку и сосредоточенно выгрызал из колбасиной горбушки нутро.

— Ирина Николаевна известная мечтательница.

Ирина Николаевна нервно передернулась.

— Вовсе не то... Каждому ведь хочется яркого... ну, яркой жизни... да, всем...

Студент запел козлиным голосом:

— «Костюм-ум мой при-ли-ичен и шля-апа с пером»... Ирину Николаевну обуревают романтизм. Она ждет, явится рыцарь со шляпой, в которую будет воткнуто страусовое перо.

— Ах, никого я не жду... будет глупости...

— А по теперешним временам, увы, вывелись перья и береты... Хорошо еще, если сюртук не заложен в ломбарде, а то в пиджачках-с...

— И души такие же пиджачные, — поддержал товарищ, вытирая губы и руки от сала.

— Не понимаю, что тут смешного. Жизнь такая серая, монотонная... Идешь по улице, все одинаковы, как копеечные монеты, и всё одинаково. И каждый день похож один на другой. И так хочется вырваться из этой одинаковости, серости... Присматриваешься к каждому дому; вот тут, должно быть, что-то особенное, какая-то особенная, яркая, непохожая жизнь, аходишь...

Студент сделал калмыцкие глазки.

— ... с инструментами — и приходится извлекать так прозаически нового человечка на свет...

Ирина Николаевна вскочила; лицо покрылось пятнами; в голосе задрожали слезы.

— Ну, да, конечно... Вы, как все... издеваться... словно акушерка это неприлично... это с улыбочкой произносится.

И вдруг засмеялась зло, с истерической ноткой:

— Грязная работа, а сама мечтает о яркой жизни... ха-ха-ха!..

Она торопливо подошла к окну, глядя на улицу сквозь ничего не пропускающее замороженное окно, боясь, что разрыдается.

Все поднялись.

— Рина, ну, что ты...

— Он вовсе не хотел тебя обидеть...

— Ну, стоит ли обращать внимание...

— Ирина Николаевна, голубушка... да я вовсе... вы меня простите... у меня и в уме не было... Я всякий труд... ведь это только идиот бы мог так... я, ей-

богу... — студент отчаянно прижимал одну руку к груди, а другой ерошил волосы.

Товарищ пришел к нему на помощь.

— Вася не только по анатомии проваливается. Ты поешь еще колбасы, — вот горбушка.

И опять все засмеялись.

Ирина Николаевна повернула ко всем смеющееся лицо, которое говорило, что она не сердится, что ей самой неловко за свою вспышку, и торопливо моргала длинными черными ресницами, незаметно сгоняя на-вернувшиеся слезы.

— Фу, ты... да нет, я не сержусь... Только, право, знаете, иногда думаешь... Смотришь, большой, огромный дом, такой значительный, и непременно представляется и жизнь там особенная, значительная, а войдешь — все то же самое: папаша, мамаша, детишки, прислуга, рога наставляют, в карты играют, ссорятся, все то же монотонное, серое, уф... я устала от этого.

*

Был час ночи, когда Ирина Николаевна воротилась домой. Торопливо разделась и натянула одеяло до подбородка, приятно отдаваясь после студеной улицы охватывающему теплу прогревающейся постели.

Она не хотела дать себе сразу заснуть; хотелось о чем-то помечтать, в чем-то разобраться, и от времени до времени подымала липко опускавшиеся веки.

«Да, так о чем это я?.. Ну, да, ну, да, и личной жизни, и личной жизни хочется... Что же тут смешного или стыдного»...

В ответ бесконечно монотонно и утомительно тянулись дома и все, как один, с бесчисленным множеством чернеющих окон. Об этом что-то говорил студент, только она не могла разобрать.

Один дом — он был коричневый — стал пухнуть, раздаваться, вырос и заслонил все остальные.

«Да ведь так не бывает»...—подумала она.

Матрена, такая же сонная, медлительная, невозмутимая, как всегда, толкая, отворяла коричневый дом, но, странно, отворяла не дверь, а весь фасад.

«Да ведь так не бывает»... — не то подумала, не то сказала Ирина Николаевна.

«Стало, бывает», — сердито огрызнулась Матрена; и это было убедительно. И, толкнув, отворила всю стену с окнами, водосточными трубами, парадным под'ездом, с толстым швейцаром, а там оказался сконфуженный студент Вася, на голове у него была лысина, а на лысине торчало страусовое перо.

— Ну, господи, да что это такое... стой тут над ними... ведь дожидаются...

Ирина Николаевна на секунду открыла глаза, и они поймали беглым впечатлением грузные груди и голые толстые руки стоявшей над ней Матрены. Оплывающий огарок капал на постель стеарином, и бегло-трепетные тени шевелили сонное лоснящееся лицо прислуги.

Ирина Николаевна, точно защищаясь, быстро закрыла глаза, но сейчас же села на постели.

— Хорошо.

На стене пробило два.

— Кто там?

— Какой-то одноглазый приехал.

— Скажи, сейчас.

Через полчаса, одетая, освеженная холодной водой, с знакомым настроением чего-то длительного и неизбежного, с сумкой с медикаментами в руках, Ирина Николаевна вышла в прихожую.

Со стула поднялся ожидавший человек.

«Странно», — подумала Ирина Николаевна, мельком глянув на него, и опять бегло глянула.

Он стоял устало и покорно, в чудном длинном балахоне и в башлыке. Левый глаз белел слепым бельмом, полуприкрытый большим, наплывшим сверху, шрамом.

При неверно скользящих тенях колеблющегося огарка Ирине Николаевне показалось, он смеется.

Она еще раз глянула, — он не смеялся. Живой глаз глядел устало, даже грустно, но смеющиеся складки на лице, стянутые морозом около губ, лежали неподвижно, как у человека, насильственно привыкшего к постоянному смеху.

— Вы от кого?

Он молчал.

Не раздумывая, она пошла вперед, он за нею.

Они спустились и вышли, и пустынная улица охватила их густым синим холодом, в котором медленно, больно дышалось, бело-скрипучим снегом и линией уходящих сонных домов, и линией уходящих ночных огней.

Запряженная небольшая лошадь, сгорбившись, неподвижно белела заиндевелым задом. Ирина Нико-

лаевна с удивлением широко раскрыла глаза: перед ней были не сани, а низкий, над самым снегом, неуклюжий ящик на полозьях.

«Странно!..»—и она удивилась, что ей приходится сегодня так часто удивляться. Нужно было садиться.

Человек в балахоне, все с тем же неподвижно-смеющимся серьезным лицом и усталым глазом, сел впереди, под самыми задними ногами лошади, и тронул вожжи.

Полозья заскрипели, снег стал мелькать назад, морозно искрясь, и стали отходить один за другим фонари, провожая едущих уродливо вытягивающимися от каждого синими тенями.

Ирина Николаевна надела сумочку на руку и засунула руки в рукава, стараясь подбирать ноги, которые все волочились по снегу.

Впереди — бессонные ночи, усталость, вид бессмысленных страданий, животные крики, так непохожие на человеческий голос... И, как бы вознаграждая себя за все предстоящее, она старалась вызвать и отдаться настроению и мечтам красивого, яркого, малознамого.

Ницца, розы, голубое море, солнце блещет...

Он подойдет, он молодой, с тихими проникающими глазами. Она не знает, что он скажет, но это — музыка, и она к ней прислушивается. И нет домов, нет бесконечно убегающей цепочки огней, не скрипит снег, не кусает лицо мороз. Тянется длительная, тихо баюкающая далекая молчаливая песня без слов, песня, которую не слышишь, но чувствуешь.

И она улыбается, улыбается неслушающимися губами, которые стянул мороз.

И в это странное состояние полубодрствования, полугрез впивается незримо навязчивым впечатлением белый, затянутый глаз из-под наплывшего на него шрама.

«Кто он такой и куда он меня везет? Отчего он молчит... Разве не бывало случаев»...

Она смотрит. Перед нею все та же, сопровождаемая поскрипыванием снега, неподвижная шина, все те же уходящие дома, те же провожающие уродливо вытягивающимися тенями фонари, и не хочется вытаскивать согревшихся рук из рукавов, менять положение, и тает, колеблясь, морозное облачко дыхания у рта.

Она перестает думать о белом глазе, о неподвижной спине молчащего человека. И опять, вслушиваясь, отдается молчаливой беззвучной песне о красоте, о счастье, об ином мире, который — вне этих домов, вне этих улиц, вне пошлых своей обыденностью человеческих отношений.

И вдруг, как тонкий звук лопнувшей струны, погас мир капризных красок и грез.

Она подымает глаза. Стоят на перекрестке. Лошадь, странно нагнув голову и внимательно глядя вниз, пять раз с размеренными промежутками — и в этом чувствуется преднамеренность — бьет копытом в землю, высоко подымая правую ногу.

И опять трусит рысцей, уходят дома, мелькает бело-скрипучий снег, и неподвижная спина возницы.

Ирина Николаевна поглубже засовывает руки, но уже не может вернуть спугнутого настроения, — песня оборвалась.

С обычным впечатлением зимней ночной улицы и езды мешается, всплывая, не то тревога, не то необъяснимое ожидание, не то смутность воспоминания. И она хочет вспомнить и вынуть беспокоящую занозу.

Белый глаз?

Долго мелькают дома, сплошь вросшие друг в друга, потом снова разрываются уходящими в разные стороны огнями перекрестка. И по мере того, как приближаются к перекрестку, вырастает несознанная тревога.

Остановились.

Лошадь опять странно нагибает голову и мерно бьет в землю пять раз, но уже левой ногой. Спина кучера неподвижна, он не шевелится. Лошадь, без попуска, снова трусит рысцой.

Острым холодком пробегает по затылку мелкая дрожь. Ирина Николаевна на секунду затаивает дыхание, глядит широкими глазами в неподвижную спину возницы.

Белый глаз, смеющиеся застывшие складки усталосерьезного лица, неподвижность и молчание этого человека, и пустынность улиц, и одинокие фонари — все ткется вокруг Ирины Николаевны в паутину чего-то особенного, имеющего свой затаенный смысл.

Как будто в первый раз она увидела — по бокам тянутся назад громадные немые, с бесчисленно и неподвижно чернеющими окнами, дома, в одно и то же время скованные сном и полные молчаливого бодр-

ствования, иного бодрствования, чем днем. С назойливым беспокойством она стала вспоминать такое же впечатление бесконечно-угрюмых домов с немо-чернеющими окнами и вспомнила: это во сне, когда ее будила Матрена.

Пришла мысль откуда-то со стороны, что есть что-то страшное в жизни людей. Не в жизни отдельного человека — она такая же серая, обыкновенная и простая, — а в жизни всех людей вместе, как есть что-то страшное в этих бесчисленно и немо-чернеющих окнах, сколько бы ни ехать, хотя каждое из них такое ничтожное и простое.

Ах, боже мой, да ведь ничего особенного!.. Но доводы ее, спокойные и ясные, шли мимо настороженно-притаившегося ожидания. Было что-то, что она не умела отвергнуть.

Долго мелькали дома, сплошь выросшие друг в друга, потом снова разорвались уходящими в разные стороны огнями перекрестка.

Лошадь остановилась, медленно повернула голову, внимательно глянула из-за дуги на Ирину Николаевну и... четыре раза добродушно поклонилась ей.

— Ай!..

Тонкий заячий крик мечется, застывая в густосинеющем морозе, залившем улицу по самые крыши. Сверху плавают большие крупно-дрожащие звезды.

— Ай-яй-яй!.. не могу, не могу больше!.. Что это?.. Послушайте, что это она делает?!

Лошадь трусит, мелькая белым крупом; все так же неподвижна спина возницы.

Это нетухнувшее представление внимательных лошадиных глаз, черных, блестящих и выпуклых, молчаливо говорящих почти человеческим языком, наводит ужас.

Соскочить, броситься бежать... Но ноги отнялись, да и куда? Стоят пустые незнакомые, полные ночной серьезности улицы.

Кажется, будто стоит Матрена, каплет стеарином и, хоть страшно не хочется, а надо просыпаться. Ирина Николаевна поймала в согревшихся рукавах одну руку другой и больно ущипнула.

Этот человек так же молчит, так же неподвижен, так же не оборачивается к ней и ничего не замечает, или притворяется, что не замечает, и охватывает холодная жуть нарастающего ожидания.

А что, если ничего нет, и все это обыкновенно. Широко раскрывает глаза и, крепко нажимая веки, она поморгала. Все то же: режуще повизгивает снег, плывут навстречу и уходят дома. Далеко сходящиеся линии огней ломаются огнями перекрестка. Как и дома, перекресток наплывает все ближе и ближе.

А что если и там?..

Она не позволяет себе думать и просто смотрит, как приближаются освещенные фонарями угловые дома. Ближе и ближе. Отчетливо видны переплеты на черных окнах. И с бьющимся сердцем она ждет — спокойно проедут, и свалится тяжело опутавший глаза и голову кошмар.

Поравнялись с угольным домом. Блеснули уходящие огни боковых улиц. Лошадь остановилась, повернула

голову, внимательно глянула из-за дуги и так же равнодушно поклонилась Ирине Николаевне четыре раза.

— Ай! Не могу!.. Я не хочу... помогите!.. Мне страшно!..

Лошадь без понукания побежала рысцой.

Ирина Николаевна выдергивает руки из нагретых рукавов, бросается и начинает царапаться о заиндевелую спину, отчаянно крича.

Тогда тот оборачивается к ней медлительно и неуклюже, и из заиндевелого башлыка глядит неподвижно-усталое лицо с побелевшими бровями, все в стянутых морозом складках застывшего смеха. Он пристально глядит на ее кричащий рот, покачивает равнодушно головой, как его лошадь, и говорит сиплым с мороза голосом:

— Зараз.

И отворачивается.

Но она продолжает царапаться и кричать. Он опять оборачивается, опять глядит ей не в глаза, а в кричащий рот, и вдруг неподвижные складки расползаются ото рта и носа, и живой, настоящий смех обнажает зубы и десны.

Бегут дома, искрится снег, плавают поверх улицы в синем морозе крупные звезды.

Это так нелепо, бессмысленно, дико, что у нее все пересеклось: перестала кричать и отвалилась, забыв сунуть руки в рукава, и они стынут. Внутри все побелело, оледенело, стало хрупким и звонким, и она боялась пошевелинуться.

Где-то в стороне от этого застывшего напряжения плыли мысли.

Во сне всегда нелепости...

А если сон, так чего же бояться?

Так ведь это не сон: она видит дома, лошадь, фонари, снег скрипит и мелькает...

И во сне бывают дома, лошади, фонари, снег скрипит и мелькает...

Да, но теперь она думает и рассуждает, сон это или не сон.

И во сне она часто решала: во сне это, или не во сне?

Но отчего все так последовательно и в порядке идет, и улицы, и дома, и движения, и мысли. Все так отчетливо и ясно. Вот у нее совсем онемели пальцы на правой руке...

А разве в прежние сны не казалось, что все в порядке: и улицы, и дома, и люди, и мысли?

Да, но там были разрывы: вдруг что-нибудь странное, обрывающее.

Так ведь это, когда уж проснешься, видишь, что было обрывающее естественный порядок.

Боже мой, сойти с ума можно!..

Какой-то царь, рассказывают, по предложению мудреца, окунулся в воду. И там у него вся жизнь прошла: жил, любил, страдал, наконец, стал седым, дряхлым стариком. А когда вынырнул, он был такой же, как и прежде, и в воде пробыл секунду.

А что, как и она откроет глаза, а этого ничего не было: ни лошади, ни улицы, ни жизни, ни скуки,

ни серости, ни тяжести профессии, ни неудовлетворенной жажды личной жизни, откроет глаза, а она — девочка, и мама сидит и гладит ее волосы: «Проснулась, детка?»...

От напрасных усилий выбраться из лабиринта стало тяжело дышать, и она сделала над собой усилие перестать разбирать этот запутанный клубок — все равно.

В густой, косо падающей от ворот тени, как черное изваяние, в неподвижных складках огромной шубы сидит ночной сторож.

Спросить его: сон это или не сон?

Ей мучительно хотелось спросить, но это было бы так дико, что, казалось, если спросит, произойдет что-то, еще более ужасное: что — если каменное изваяние медленно подыметься и, не раскрывая глаз, четыре раза стукнет ногой и покачает головой. Она чувствовала — тогда умрет.

Ящик, скрипя, проехал мимо.

Ирина Николаевна изумлялась тому особенному виду, который имели теперь самые обыкновенные предметы, и тому особенному в своей значительности языку, которым они говорили.

Дома пошли ниже. Потянулись заборы, пустыри. Изредка попадался керосиновый фонарь, одинокий и заброшенный. Призрачно белели приведения заиндевелые деревья, таинственно меняясь по мере приближения к ним. Все смутно, морозно-мглисто, с неясно-теряющимися контурами. Только звезды проступили вверху ярче.

Несколько раз сворачивали. Стали нырять по ухабам.

Привернули к забору, в котором вместо ворот зияли выломанные доски. Нахохлившись старой крышей, покосившись полусгнившим черным срубом, молча и безжизненно глядел мертвыми окнами заброшенный дом.

Все то же...

И вспомнила:

Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке,

Вот мельница вприсядку пляшет

И крыльями трещит и машет...

В'ехали под навес, прислоненный к дому. Было черно, как в могиле. Ирина Николаевна отдалась странному оцепенению, которое тянулось, как тонкое комариное пение, неосязаемое и непрерывное. Все равно...

В этой густой неподвижной тени вдруг появилось с десятков странных существ, которых трудно было разглядеть, и принялись, беззвучно мелькая, танцевать. Их поджарые силуэты, ниже людских, усердно прыгали на тонких ножках, прямые и молчаливые.

Возница возился около лошади, а Ирина Николаевна неподвижно, не шевелясь, сидела, поверхностно дыша. Очевидно, все так полагалось. Был какой-то свой таинственный порядок, и она пассивно отдавалась ему, как уносимая течением.

Молча плясали.

Станным незнакомым голосом человек гортанно бросил:

— Алло!..

И, как провалились, исчезли странные силуэты. Была только мгла.

— Пожалте!..

Она так же неподвижно сидела, поверхностно дыша.

— Пожалте!..

Она сидела, не шевелясь, полагая, что и это входит в цепь того странного ее охватывавшего порядка, который она не должна почему-то нарушать и противиться ему.

— Пожалте, барышня, приехали.

Странно, — это был человеческий голос и живые слова. Она чувствовала, когда тот наклонился, теплоту его дыхания с дурным запахом из рта.

И, полагая, что в звеньях странного ее обступившего порядка заключалась обязательность для нее встать, она с усилием вылезла из ящика, стала на неслушающиеся смерзшие ноги и потянулась, зевая, стараясь проснуться, но не проснулась.

Человек открыл дверь, за которой было так же непроглядно темно, шагнул, и она пошла за ним, протянув руки и нащупывая дорогу в кромешной тьме.

— Сюда пожалте, за мной... налево...

Она шла на голос и думала, что он теперь смеется в темноте. Осторожно ступала, натываясь на ящики, корыта, и вдруг со стены, которую задела рукой, посыпались обручи.

— Направо чан с водой, не попадите.

И слышно было, как, должно быть, в воде, кто-то «буль-буль-буль... у-у-упь»!..

Она пробралась с странной уверенностью, что больше ничему не удивится.

Скрипнула дверь, и в длинный красноватый про-свет обдало нестерпимо-острым, от которого пошатнуло, зловонием, и глянула придавленная почернелым потолком, смутно освещенная коптящей лампочкой комната. На кровати врасстыжку на спине — огромный мужчина, с пунцово-красным пьяным лицом и стеклянными глазами. На нарах — мерно шевелящееся, очевидно, подымаемое дыханием, тряпье, и из него в разных местах высовывается то грязная ножонка, то детская рука, то бледное впалое личико с обведенными синевой сонно-закрытыми глазками. На полу — раскрытый сундук, и в нем напихано грязное одеяло, корыто с водой, и странно овившееся спиралью неподвижно-серое, вроде невиданной гигантской кишки, свернутой кольцами.

Это было мгновенное зрительное впечатление, пока она перешагнула порог. Но, когда сзади скрипнула закрывшаяся дверь, из неподвижно-серой спирали с неуловимой быстротой поднялась в рост человека гигантская змея и, опираясь на свернутый хвост, качалась, блестя змеиными глазками и с шипением мелькая перед самым лицом вилочками раздвоенного языка.

И хотя все это — сон, и она решила не удивляться, все-таки это было безумно. И откинувшись и изо всех сил прижавшись спиной к пузатому полуразвалившемуся шкафу — путь в дверь преграждала качавшаяся змея — Ирина Николаевна кричала в качавшуюся

змеиную пасть, кричала диким, никогда неслыханным голосом, ровно кричала, не прерывая ни на секунду крика, запустив в доски ногти, и из-под ногтей брызнула кровь.

От этого крика все в комнате пришло в движение: траурно замоталась струйка бежавшей над лампочкой к почернело-нависшему потолку копоты; моргнуло в буром стекле красное пламя; всюду засновали тени; сверху над головой гортанно-картавым нечеловеческим голосом злорадно-обрадованно прокричало:

— Пгххожжалуйте, хгосподха, начхалось пхредствавление...

Мужчина с кумачно-красным, пылающим лицом сел на кровати, глядя и не видя, очевидно, перед собой остеклевшими глазами, и злобно гаркнул прерывистохриплым, как будто не ему принадлежащим басом:

— Алло... бери барьер... ну, дьявол!., в обруч... вперед!.. Не задевать... тты... — и прибавил скверное ругательство.

В ту же минуту со шкапа плюхнулись на пол две совершенно голые, как лягушки, мерзкие мокрые собаки и стали танцевать перед Ириной Николаевной на задних лапках, наивно свесив набок мордочки.

— Пи-ить!.. — тонкой жалобой прозвучало в этом содоме, — пи-ить, мама!..

Бледная головка сидевшего в тряпье ребенка, не отпускаемого сном, не держалась на тонкой шейке, сваливаясь то на ту, то на другую сторону, а глазки были закрыты, обведенные синевой, как это делают себе карандашом актрисы.

Ирина Николаевна ровно кричала перед качавшейся змеей.

С печки, кряхтя, слезла женщина с огромным, как раздувшийся пузырь, животом.

— Не бойтесь.

У нее было костлявое измученное, как у заработавшейся лошади, лицо и добрые, полные материнской ласки глаза.

— Не бойтесь, это — добрая насекомая.

При звуке ее голоса все успокоилось: Ирина Николаевна перестала кричать; мужчина лежал на спине, глядя в потолок мутно-стеклянными глазами, и часто дышал; тихо шевелилось на детях тряпье; собаки, как развернутая пружина, метнулись на шкаф, повозились и улеглись. Ровно, не колеблясь, коптила лампочка.

Ирина Николаевна попрежнему прилипла к шкапу спиной, впившись в него руками и не спуская круглых глаз с качавшейся змеи.

— Да не бойтесь, — и чтоб успокоить, женщина взяла рукой змею и, как холодным шарфом, обернула ею себе шею, — вот!

В ту же секунду лицо ее перекосилось, губы повело тонкой судорогой, глаза вылезли, и она закричала опускаясь на пол:

— О-ох!..

Ирина Николаевна тоже закричала:

— Помогите!.. душит... задушит... ай-яй-яй!..

И опять началось.

Мужчина сидел на кровати и хрипло ругался:

— Алло!... бери барьер... сволочи... убью!!.

— Пхгожхагуйте, хгосподха, начхалось...

И тоненько, как паутинка:

— Пи-ить!..

Со шкафа сверзились голые собаки и стали танцовать.

Женщина перестала кричать и корчиться и, тяжело дыша, с раздувающимися ноздрями медленно размотала с шеи подававшуюся без всякого сопротивления змею.

— Нет... ничего... Это схватило... Господи, больно-то как... Это — кормилец наш... добрый... им только и живем... в три месяца раз кормить его можно... три дня осталось, вот беспокоится... кроликами живыми кормим... О-о-ох!.. Купала его в корыте... Публика на него только и идет... Боа-констриктор... Не бойтесь, я его уложу...

И она нежно кольцами стала свивать огромную змею в сундук, перекрывая теплым одеялом.

Все успокоилось.

Ирина Николаевна стояла над женщиной, точно разочарованная: кругом было просто, ясно, обыкновенно, словно сдернули пелену, и где-то тонкое жало сожаления, в котором она бы не призналась, что все кончилось.

— Кто этот?

— Хозяин мой.

— Что с ним?

— Тиф. Пятые сутки без памяти. Выходится, нет ли...

Она заплакала, вытирая рукавом глаза.

— А это ваши?

— Мои. Пятеро со мной, да двоих взяли на побывку; тут в приюте добрые люди устроили. Деточки-то соскучились... дома-то хоть немножко побудут, отдохнут. А уж как я-то стосковалась: по году не видим их... — лицо у нее сморщилось, и она задергала бровями, удерживая слезы. — По селам ездим и по городкам, — тут кто нас смотреть будет...

И вдруг застонала и закусила губы.

— Вы бы прилегли.

— Нет... ничего... отошло...

— Ну, вот что...

Ирина Николаевна стала оглядывать помещение деловым, привычным взглядом. Все, с чем она сжилась, — ровная трудовая жизнь, не дарившая улыбок и красок, спокойная и требовательная, вступила в свои права. Как будто то, что пережила, случилось давно, когда-то, много лет назад, подернутое странной дымкой сомнения: не то было, не то нет?

А кругом так просто, обычно и грязно: черные щели разошедшихся досок потолка кишат шепчущимися тараканами; выглядывают с разных сторон из тряпья грязные ножонки и головенки тихо дышащих детей; попугай, ухватившись кривым носом за кольцо, молча покачивается над шкафом, позабыв приглашать публику; тифозный, с огромным телом, кумачно-красным лицом, тяжким и торопливым дыханием глядит мутно-остановившимся взглядом на кишаших на потолке тараканов.

— Я здесь не могу принимать.

Губы ее были сжаты, и глаза глядели упорно, с непреклонностью профессиональной ответственности.

Глаза у женщины в ужасе раскрылись, а бледное исхудалое лицо стало еще блее.

— Господи, да как же...

— Не могу. Ни за что. Собирайтесь, сейчас едемте.

— Да как же бросить-то: этот больной, деточки маленькие.

— Я здесь не могу. Поймите, — грязно, тиф, это заранее убить вас. Я вас отвезу в приют.

— Да на кого же я их? Кто же без меня их накормит да присмотрит? — и она заплакала.

— Оставьте того человека, что привез меня.

— Ванюшку? И он замучился, другую ночь не спит, да и глухой.

— Говорю вам, здесь отказываюсь, это убийство будет, я же, в конце концов, отвечаю. Собирайтесь сейчас же, время уходит, — и она решительно взяла свою сумочку.

— Но что ж... о, господи!.. зараз соберусь... — и стала одевать рваную длиннополую шубу.

Потом на минутку вышла и вернулась.

— Сейчас Савушка, лошадка-то наша обиделась, побила задними ногами ящик. Ванюшка зараз справит.

— Вы бы лучше в сани запрягли.

— То-то, что нету. Один ящик, — зверей и детей возим.

Подошла к детям, долго смотрела жадными материнскими глазами на бледные личики, потом долго кре-

стила каждого, целовала в разные места, все торопливо крестя маленькими крестиками. Потом подошла к мужу и долго плакала над ним, утираясь рукавом шубы, и говорила ему, неподвижно глядевшему в потолок невидящим взглядом:

— Да подымись ты, Ферапонт Митрич, подымись, кормилец ты мой... покуда вернусь, а ты подымись... Глянь-ко, ребятёночки-то... подымись, родимый...

Тот глядел на тараканов.

Когда вышли, уже расползлся просыпающийся зимний день, постепенно открывая заборы, деревья, редкие домишки, все захладавшее, густо и бело запущенное инеем.

Под навесом стоял знакомый ящик на полозьях и запряженная в него ученая лошадка. Когда стали садиться, из проступившей в углу, под навесом, будочки выскочили десять собак, дрожащие, несчастные, головыстриженные снизу, и стали усердно танцевать на задних лапах, подпрыгивая и приседая, наивно и покорно загнув набок мордочки.

Ирина Николаевна отвернулась.

Поехали. Больная правила сама. Лошадь трусила. Отходили заборы, пустыри, маленькие домишки, а на двигались прямые улицы, большие дома. По улицам уже начиналось движение. Останавливались и с удивлением смотрели на странный ящик, везший двух женщин.

«Этого еще не доставало...» — горько думала Ирина Николаевна и, чтобы заглушить неприятно подымавшееся чувство, проговорила:

— Кто этот, что привез меня вчера?

— На улице подобрали, сирота. Мы и выкормили.

— Отчего у него такое лицо, как будто смеется всегда.

— Представляет, так привык. Со зверями умеет искусственно перед публикой разговаривать; как выйдет, публика покотом ложится, до бесчувствия, бесперечь гогочут. От этого и доход. Глухой.

— Отчего?

— С трапедии упал, уши лопнули.

На углу лошадь остановилась, нагнула голову и четыре раза стукнула копытом. На панели засмеялись.

— Да ударьте ее, — почти крикнула Ирина Николаевна, чувствуя, как краска бросилась в лицо, — не давайте ей этого делать, ударьте кнутом!

— Господа, нельзя. Обидится — и весь ящик разобьет ногами. Не привыкла она к черной работе, брезгует. Она даже на задних ногах ходить может и очень любит, чтоб публика смотрела — сахаром все кормят.

«Комедия... вот бы посмотрела вчерашняя компания...»

И, чтоб отвлечь назойливые мысли, Ирина Николаевна, стараясь не глядеть на прохожих, проговорила:

— Отчего у него глаз такой?

Лицо женщины болезненно передернулось.

— Муж выбил.

— И вас бьет?

— Бьет.

Женщина конфузливо помолчала и проговорила тихо:

— Не без этого.

И вдруг воодушевилась:

— А животную-то любит. Господи, иной аж до слезы прошибет — сам не поить, зверя накормит.

Лошадь опять стояла на перекрестке и усердно выбивала ногой, а больная говорила ей просительно-заискивающе:

— Милая, иди... мне больно... Савушка, иди скорее, мне очень больно...

Снова затрусила.

— Ох, боже мой!.. Оттого и живут. У других вондохнут, а у нас по скольку лет живут. А ведь зверь-то дорогой, меньше четвертной и не ухватишься. Вон есть по две, по три сотни плачено. Как вы думаете!.. Тошно... Иди, милая.

В'ехали в бойкую улицу. Она жила, вся повитая скрипучим морозом. Шел народ; на перекрестке стояли извозчики, прохаживался городской, отворяли магазины. Ребятишки с сумочками и с красными от морозу лицами, с'ежившись, бежали в школу.

Лошадь, видя публику, остановилась и добросовестно начала выполнять номер за номерам. На панели стали останавливаться, из магазинов выскакивали приказчики; бежали, как угорелые, размахивая книжками, ребятишки.

— Гляди, ученая лошадь...

— Братцы, скорей...

— В карете приехали...

— Из Саксонии две фрелины...

— Хо-хо-хо-ха-ха-ха...

— Милая, иди!..

Все столпились около лошади. Она кланялась из-за дуги, стучала копытом, становилась на колени, наконец, подхваченная всеобщим вниманием, поднялась на задние ноги, потопталась, присела, сделала реверанс и стала, мотая головой, раскланиваться на все стороны.

Извозчики поползли с саней, держась за животы; ребятишки с диким визгом плясали; покатывались приказчики, купцы, прохожие; у всех вдруг пропали глазки в складках красных, багровевших лиц. Самые вывески и стекла магазинов широко ухмылялись.

И среди гомона, говора, хохота, среди высоких строгих домов с бесчисленными окнами, среди веселого морозного звона просыпающихся церковей метнулся дикий, звериный, так знакомый Ирине Николаевне крик:

— Ох... ох... о-о-ох-ох... а-а-а...

Больная иступленно корчилась на дне ящика.

Улица безумно хохотала.

МЫШИНОЕ ЦАРСТВО

Было темно, и в темноте, в противоположность сонной неподвижности, всюду стояло неуловимое белое мельканье.

Порой, странно нарушая его беззвучность, носилось еле уловимое шушуканье, нежное и странное, не людское, и тоненький, как стеклянный, сейчас же гаснущий писк. И опять белое мелькание, суетливое, торопливо-озабоченное, смутное и таинственное в предрассветной мгле.

Когда робко посветлел четырехугольник низкого окна, заваленного снаружи снегом, проступил позеленелый потолок, сбоку выпятилась огромная печь, забелела посуда на полках, и стало видно, что всюду бесчисленно снуют белые мыши с розовыми подвижными носиками, с внимательно настороженными розово-просвечивающими ушками.

Они озабоченно мелькали по полу, взбирались на табуреты, на скамьи, на стол, становились столбиками, торопливо вытирали лапками мордочки или сбивались большим кишачим клубком, перекатывались и рассы-

пались, — и опять озабоченное торопливо-белое мелькание всюду. Была в этом своя, полная особенной значительности, нервно-торопливая бесшумная жизнь, которую точно спешили закончить до людской.

Под окном стена влажная, бархатисто-зеленая, точно дорогой ковер одевает. А возле — огромная двухспальная скрипучая в клопковых пятнах кровать. И стоит богатырский храп.

Под пестрым из кусочков одеялом кухарка, — лицо клейкое, и два подбородка. Рядом на подушке голова пожарного, — на гвоздике блестит каска.

Это сегодня пожарного голова, а то либо соседского дворника, либо городского, либо из мясной приказчика, — уж чья-нибудь голова да похрапывает рядом на ситцевой в разводах подушке.

В глубине в трех местах вместо дверей темнеют рваные грязные занавески, из-за них тяжелый удушливый храп, а в одном месте детское сонное дыхание.

Одна занавеска дрогнула, отодвинулась, на минуту открыв чернеющее каменное углубление, смутно проступившую кровать и живой красный глазок лампадки. Вышел человек в длиннополом кафтане с доброй седеющей бородой. На рот густо выросли корявые деревенские усы, а волосы гладко примазаны деревянным маслом.

В добрых чуть прищуренных глазах стояло: «ничего... все по-ладному...»

Провел шершавой ладонью, точно ночные сны снимая с лица, и, вытянув шею, стал глядеть в темный уголок, шепча и крепко прижимая сложенные мозолистые

пальцы ко лбу, к живому и плечам. Стал на колени, долго смотрел в угол, все шепча, и, нагнувшись и упираясь по-стариковски руками, так что сверху выступили лопатки, прижался к каменному холодному полу. Мыши сзади любопытно становились столбиками, глядя на отвороченные громадные подошвы его сапог, или, играя, прыгали друг через дружку, или катались, свившись в живой клубок. А когда он стал подыматься, что есть духу, понеслись, вытянув хвосты, в дальний угол и, блеснув белизной в полумгле, исчезли.

Человек с доброй бородкой поднялся, перекрестился еще и ушел, надевая шапку и скрипнув дверь.

Опять тихо и неподвижно, только сонное дыхание: мыши снова повыбрались, торопливо обнюхивая.

Совсем посветлело; по углам ясно обвисла траурная бахрома паутины. У пожарного подушкой подмяло под щеку ус, и лицо от этого стало кургузое.

За другой занавеской, такой же рваной и грязной, проснулось слабое чириканье. Кто-то сторожко и робко шуршал и возился, и опять чириканье и тоненький, тоненький голосок, а, может быть, это только прозвенели упавшие капли.

Мыши, белея, взапуски носились по полу.

Подошла снаружи к окну кошка и, прислонившись усами к стеклу, долго и неподвижно глядела, подняв из талого снега лапку и поводя кончиком хвоста. Потом, показав между усами красный рот и белые зубы, жалобно промяукала и, отряхнув мокрую лапку, ушла.

Снова робкое чириканье: пи-пи-пи... теннны... дзя-дзя... дзя... дзя!..

Потом шепелявящий голосок:

— Ой, не щипайся!.. а то укусю...

— Папе-апе скажу...

— Цыть!..

— Дзяка!..

— На дво-ол...

Из-под занавески вылезает в одной распашонке двухлетний мальчонок. Перегнувшись назад от большого, выставившегося, с вылезшим пупком живота, с трудом держа голомозгую стариковскую с отвислым бледным затылком голову, он заковылял на кривых ножках; не управляя движением, точно пол был покатым, он неудержимо катился в одном направлении, трясясь, как желе.

Доковылял до печки, толкнулся и, так же трясясь, заковылял в угол. Доковылял до угла, толкнулся, громко шлепнул пухлым задом о холодные плиты и стал неловко мотать ручонками, ловя мышенят, прыгавших через голые стынувшие ножонки.

— Пи-пи-пи-пи!..

И, подумав, добавил:

— Дзяка!

За ним из-за занавески вышла девочка с синими жилками на зеленовато-прозрачном личике, с широко открытыми спрашивающими глазками под безбровыми бровями.

Она поджимала покрасневшие от каменного холода ножки, то одну, то другую. Вдруг присела и стала ловить мелькавших мимо мышей, заливаясь, точно тоненький фольговый колокольчик, да вспомнила, пере-

бежала, мелькая ножонками, и стала у кровати на одну ножку, поджав другую.

Долго стояла и смотрела на храпевшего пожарного, не спуская глаз с полуоткрытых обсохших губ, за которыми белели зубы: на подушку набежала тягучая слюна. Потрогала пальчиком рыжий завернувшийся под щеку ус и испуганно отдернула, когда пожарный громко всхрапнул...

Поднялась на цыпочки, пожимая пальчиками на холодном полу, и подергала за рубашку:

Дядя Сяватей, вставай, а то невесту п'япись...
а то саёки воёта обедеи...

Пожарный открывает красные, как мясо, глаза, не понимая, где он и что с ним. Потом сразу спускает мозолистые с изуродованными пальцами мохнатые ноги и начинает быстро натягивать штаны, сапоги.

— Ах, едят те мухи с комарами —опять проспал. Ты чего же раньше не разбудила? А эта храпит, аж стены трясутся. Гора иерихонская!

Он торопливо надевает форменную тужурку, туго подпоясывается кушаком, на голову — сияющую каску и застегивает под подбородком, отчего становится совсем другой, большой и страшный.

Девочка с заплетенной косичкой все стоит на холодном полу по-гусиному, на одной ножке и не сводит глаз:

— Дядя Сяватей, у тея голева, как самавай.

Тот, как матерый гусь, охорашивается и оправляет мускулистую фигуру, тщательно расправив измятый ус.

— Какой самовар, а то и самовару далеко.

И, еще раз оправившись и выправив из тугого воротника подбритую красную набегающую шею, уходит. Девочка долго смотрит, не мигая, светлыми, широко открытыми, точно испуганными глазами на дверь, поджимая ножонку. Потом, глянув на бегающих мышей, торопливо приседает на-корточки и начинает ловить белых мышенят, которые проворно, как масляные, проскальзывают между пальцев. В полуподвале посветлело от тоненького детского смеха.

Показывается заспанный вихрастый мальчишка, с курносым лицом; руки засунуты в штаны, и в карманах играет пальцами. Следом торопливо выползает из-под занавески совсем маленький в завязанной на спине узлом рубашонке и бойко подвигается, торопливо пересаживая по полу покрасневший голенький зад, восторженно повизгивая.

Мальчишка хмуро стоит, смотрит, не видя, думает о своем. Потом, глянув на ребятишек, как кобчик, с лисьим проворством, нагнувшись, шлепает одного, другого и с такой же скоростью и так же ловко потаскал за косичку девчонку:

— Не трожьте мышей, не трожьте мышей, мокрохвостые!

Дружно, точно сговорившись, все трое заревели на разные, но все на тоненькие голоса.

Мальчишка хмуро стоит и смотрит, запустив руки в карманы и шевеля пальцами.

Кухарка шевельнулась, заскрипев кроватью, и села, заняв много места.

— И когда вас угомон возьмет, пострелы, ни дня, ни ночью, ни покою, ни отдыху. Ги-ги, да гу-гу... Да эти мыши проклятые, чтоб они передохли. Барыня и то уж говорит: Марфа, что у вас судак по-польски мышами воняет? Да как же не канителиться, когда ни свет, ни заря содом подымут, ни проходу, ни проезду...

Из-за той же занавески проворно выскочил небольшой мужичок с ярославской ухваткой и, туго покраснев, закричал фистулой:

— Мыши понадобились!.. А чем они препятствуют, мыши? Божья скотина... живут с них люди, чего вам надо?.. А то наберет меделянов цельный полк, ажных кровать разваливается...

— Во как! — загремела кухарка и встала с кровати,— ты что тут за антересан!.. Я за тобой считаю, с кем ты зад треплешь? Вот возьму да выкину на улицу совсем с мышами да щенятами твоими...

— Накось, выкуси!.. Не доросла... Господам плачу, не тебе...

И, чувствуя необходимость ослабить напряжение, проговорил заботливо:

— Базар вон отошел... до свиных полден прокладаетесь...

Марфа, все так же понося злым голосом, взяла корзину, накинула платок и ушла, хлопнув дверью.

— А ты чего, стервец, детей бьешь!.. — зашипел мужичонка на невозмутимо стоявшего с руками в карманах мальчика.

Ребятишки продолжали визжать.

— Кто их бьет?!. Мышей давят... — проговорил он нагло.

Отец поймал его за волосы и замотал голову из стороны в сторону. Тот, не вынимая рук из карманов, нагнул голову, как баран, и так ловко завертел ею, что выдернул волосы, отошел к печке и стал обувать рваные сапоги.

— Опять побью, ежели будут хватать, — вызывающе пробубнил он.

А в полуподвале уже носились шлепки: шлеп... шлеп... шлеп! Мужичонко звонко шлепал малышом.

— Цыц!.. Чтобы духу вашего не слышать!.. Цыц!..

Девочка с косичкой и голопузый мальчик с выпятившимся пупком замолчали и стояли перед отцом, только губенки судорожно и жалобно трепетали, да глаза были полны горьких слез.

Зато маленький, сидя в луже на холодных плитах и запрокинув голову, орал во весь круглый, слюнявый, беззубый рот: «Нате, моя, вот ору — и все!»

— Возьми Ванятку, выдра голенастая! — закричал мужик, топая ногами и мотая кулаком. — На место!!

Девочка схватила маленького под живот и, отогнувшись назад от тяжести, с трудом понесла его, волоча ножонки, которые оставляли по полу мокрый след. А малыш с большим пупком, сам заковылял, все ускоряя шажки, как под гору.

Отец поднял и прихватил рваную занавеску. В темном каменном без окна углублении стояла широкая кровать, заваленная тряпьем, и несло прокисшими пеленками и давленными клопами.

Девочка, часто дыша открытым пересохшим ртом, донесла маленького до кровати и, напрягшись, последним усилием взвалила на край, да не одолела, и он повис на краю, а она уперлась в него коленом, чтоб не упал. Маленький, выпучив глазенки, молчал, дожидаясь, так как знал, что это не наказание и не игра, а дело. И, когда отдохнула, он надул животик, чтоб легче перекатиться, она его перекатила, посадила другого, влезла сама, и они весело стали ползать, барахтаться и играть по кровати, поминутно ссорясь, смеясь, визжа и прыгая. Но головенки их были постоянно повернуты туда, где было светло, просторно и бегали веселые мыши.

Из-за других занавесок вышли две бабы. Одна коротенькая толстенькая, нос пуговкой и набегающие вокруг рта сорокалетние морщины, но глаза были чудесные и лучились непотухающей добротой и лаской, в которых своя особая затаенная радость, и были они голубые.

Другая — костлявая, высокая, с впалой грудью, с запалыми потускнелыми глазами, как у измученной, непоеной, жаждущей отдыха лошади.

— Мирону Василичу почтение. Забеспокоились нонче рано.

— Вишь, — мыши ей помешали... Да я те за мыши голову проломлю!.. ей-богу, вот проломлю, и никаких.

— Чего там, всякого рукомесло кормит.

— Слышь, Груня, будешь стирать, прихвати пеленки. Я тогда нито... не обижу.

— Ну, что ж, ладно, постираю, — проговорила, и морщинки вокруг глаз ласково залучились.

— Васька! — злобно загремел Мирон. — Заснул? Возьми Машку, Хрипуна да Пищуху. Итить надо, запоздались.

— У Пищухи пахалки распухли.

— О?!

Мирон тревожно запустил руку в ящик, где огромным, теплым, живым клубком кишели мыши, лаская пальцы нежной, как бархат, шерсткой; все они были белы, как снег. Повозился, вытащил мышку, торопливо осмотрел, ощупал:

— Верно, пахалки.

Он придержал ее и, слегка нажимая, несколько раз поводил согнутым пальцем под горлом.

— На, отсади в больницу.

Васька взял и посадил в отдельный решетчатый ящик, где сидело несколько печальных мышей.

— Возьми из голодаевки.

Васька достал из третьего ящика с пяток мышей, посадил в свою клетку и в отцову. Мыши беспокойно бегали, торопливо нюхая воздух: их не кормили, — на голодные зубы они живее и послушнее.

В хозяйстве у Мирона было штук восемьдесят мышей. Каждую он знал, каждую называл по имени, у каждой помнил отметину, всю родословную, с каждой умел поговорить по-своему, были любимчики и такие, которых он терпеть не мог. Он знал их характеры, привычки и ухватки, болезни и нрав, и его также ели заботы и тревоги по мышьиному хозяйству, как его отца и деда заботило деревенское хозяйство.

Деревни он не знал и с шестнадцати лет сделался мышинным фабрикантом. Мышей выучивали самым разнообразным штукам: они бегали на задних лапках, держали передней лапкой хвостик, как шлейф, парами танцевали, свивались сразу по десять штук клубком, и он катал, бросал и ловил этот живой клубок. Чтоб выучить, держал мышей в голоде, но умеючи, не давая пить; целыми часами, лежа животом на холодных плитах, учил, колол горячей иглой, давил ногтями за хвосты, — и они становились послушны каждому его движению.

Когда жена померла, все хозяйство легло на Аньку с белой косичкой. И теперь, уходя, он крикнул:

— Слышь, Анька, детей зараз покорми. Хлеб на гвозде в сумке, а в углу бутылочка с молоком.

— Слisy, — проговорила маленькая женщина.

Фабрикант с Васькой ушли, а Груня и Глаша принялись за работу, одна за стирку, другая зажгла керосинку и стала варить.

— Твой спит, чай? — спросила Груня, точно освещающая все радостью ласки и доброты.

— Спи-ит. Когда встанет, дай господи, к четырем. Ноньче до того захлинался, до того захлинался, всю ночь не спала.

— Чего такое у него?

— Вишь, доктора говорят, жиром залился весь, всю утробу жиром залило, и сердце, и глотку, не продышит. Доктора в одну душу говорят, чтоб меньше ел, да больше ходил, да чтоб нагибался, гимнастику, а куды там! Жрет не впроворот, только и знает, что жрет

за десятерых да пива, как в бочку, в себя льет, а ему нюхать нельзя, потому от пива весь обрастет жиром, даже глаза зарастут, доктор рассказывает, двадцать пять пудов будет весить, — земля перестанет держать. Да к нему и на козе не под'едешь, — разве послушается. Одно — заливает глотку да жрет. А нонче ночью то храпит, а то замолчит. Господи, думаю, что ж это!.. Чиркну спичкой, лежит он гора горой, лицо с подушку, и глаз один смотрит, — сам спит, а глаз смотрит... Страшно, милая.

Она заплакала, утираясь фартуком.

— Что ж, не соглашается?

— И-и, приступу нету. Родне, а какая она там — родня: на десятой воде кисель; да на поминовение да на школу, вот тебе и весь сказ.

— А твоего труда нипочем?

— Да уж где там! Шестнадцать годов спину не разгинала, за ним смотревши.

И полились бабьи жалобы.

Глаша жила с швейцаром, толстым, задыхающимся от ожирения, и на книжке у него было полторы тысячи. Приходил он со службы в четыре утра и день спал.

Нанимал темный тупичок за три рубля в месяц, выколачивая из каждого гроша, из каждой копейки, и держал еще жильца, благообразного мужичка с доброй четырехугольной бородой, торговавшего свечами в часовне.

Груня жила с Алексеем Ивановичем, печником, в третьем тупичке. Она была старше, содержала его по-денной работой, а он бил ее и редко выходил из дому.

— Эй, Груня! — слышался из тупичка голос и кашель — Алексей Иваныч много курил.

— Батюшки, проснулся... Зараз, зараз!.. Водки-то мало... — зашептала она и торопливо закачалась на обе стороны, — ноги у нее были разбиты от сырости.

*

Мирона и Ваську с мышами ослепил во дворе блеск тающего снега; звенела веселая капель, и без удержу, как оглашенные, метались и щебетали воробьи.

На крышах уж не было снега, а по краям, нагнувшись и глядя вниз, свисали длинные сосульки, играя на солнце сборчатым морщинистым льдом, с них торопливо капало, и иногда стеклянно ломались и падали, мелко рассыпаясь. А над крышами играло голубое весеннее не по-городскому небо.

Двор был просторный. Разбросанно стояло четыре больших старых дома, набитых квартирантами; пятый, барский с белыми колоннами особняк, выходил палисадником на улицу.

На заднем дворе тянулись конюшни и сараи извозо-промышленника; вкусно пахло навозом, и запряженная в полке лошадь жевала у стены сено, оглядываясь через дугу.

Посредине двора чернело неведомо как уцелевшее старое корявое дерево; под ним, разговаривая, рылись куры, и сидела кошка.

Мирон надулся, покраснел и, что есть духу, как пятнадцатилетний, погнался. Кошка поставила хвост

трубой и поскакала, прыгая через мокрые места. Мирон пустил кирпичом и попал в низ оконной рамы.

— Ты что хулиганишь? — закричал дворник. — По участку соскучился?

Мирон еще больше надулся и покраснел.

— Потому — тварь птиц жрет.

— Мышатник!..

— Мышиный фабрикант!.. Мышиный фабрикант!.. — кричали ребяташки, бегая босиком по талому снегу.

Только на улице Мирон радостно вздохнул и оттух, — тут он был у себя дома.

По расчищенным и подметенным уже панелям торопливо спешила в обе стороны бесконечная толпа.

«И откуда они только берутся», — думал Мирон, привычным, наметанным глазом ловя и различая в толпе клиентов.

На минутку остановился и глянул по убегавшей далеко вниз улице. Внизу она терялась в задернутой голубоватым утренним туманом площади, на противоположной стороне выбегала и ползла вверх, слабо белея еще не сошедшим снегом и чернея зимними деревьями. Сияя, блестел далекий купол.

Подвывая легко и играючи, взбежал трамвай, полный видневшихся сквозь стекла людей, на минутку остановился, выбросил двух и покатился дальше, уменьшаясь и с удаляющимся воем роняя синие искры.

— Ступай кверху, — сказал Мирон Ваське.

— Чего я там не видал!.. Я на площадь пойду.

— Тебе говорят, мозгля!..

Но Васька стоял, курносый и наглый, глядя на отца маленькими злыми щелочками. Мирона подмывало дать ему хорошего раза по шее, сбить шапку и вкусно потаскать за волосы, да публика шла крутом, — отправят в участок, день пропал.

— Ах, ты!.. Скучился?.. Требуху выпущу... — и Мирон густо покраснел.

Васька угрюмо подался:

— Н-ну?!.

Мирон почувствовал — не ударит, не только потому не ударит, что публика и в участок, а еще потому, что выросла для обоих незаметно какая-то черта, и Мирон чувствовал — ее нельзя переступать.

Он давно видел, что у Васьки начинается своя жизнь, свои интересы, начинается свое, и это приводило его в раж. Васькино назначение было помогать отцу в мышином хозяйстве, помогать поднять остальных детей, и он жестоко исправлял всякое Васькино уклонение.

Но время беспощадно: Мирон старился, Васька креп, и теперь они стояли друг перед другом, почти как равные, и Мирон как будто первый раз увидел Ваську.

Что было недопустимо — Васька и с мышами плутовал. Всю мышиную науку он превосходно усвоил, но когда издыхала мышь и отец приказывал выкинуть, он ее прятал, замораживал, а в подходящий момент доставал, оттаивал, чистил щеточкой шерстку, чтоб свежее, и подбрасывал в ящик, а живую мышь взамен продавал в свою пользу. Удивлялся Мирон, почему так правильно и периодически сталидохнуть мыши.

А когда потеплело, Васька тайно завел свой мышиный завод в углу конюшни и торговал больше своими мышами.

И теперь они стояли друг перед другом, не решаясь переступить черту, которая связывала и разделяла их.

— Ну?—оказал Мирон.

— Не пойду?.. — сказал Васька, но... повернулся и пошел наверх, — торговля там была хуже, чем на площади.

Мирон весело зашагал вниз. Спустился на квартал, огляделся на углу, нет ли городского, достал из клетки мышь и, вытянув руку, подержал ее на открытой ладони.

Мышка, белея, торопливо понюхала розовым носиком ладонь, потом воздух, пробежала по руке, по плечу, кругом шеи, вспрыгнула на шапку, на минутку постояла белым столбиком, осматриваясь, опять сбежала и, усевшись на ладони поудобнее на задних лапках, передними стала умываться.

Публика останавливалась и смотрела.

— Ученая.

— Как человек руками.

— Это не нашинская, заграничная.

Мирон, держа все так же вытянутую руку, уверенной скороговоркой артиста бойко выговаривал, не обращая внимания на стоявшую публику:

— Индейская денная мышь, в гимназии образовалась, в унисрситете воспиталась, ни исть, ни пьеть, об одном лишь тужит, как муж жену утюжит, судьбу

предскажет, тужить-горевать закажет... Девушке жениха волосатого, пьяного, рогатого... Гимназисты наши запросили березовой каши... Всем расскажет, никого не обяжет, кто не хочет, проходи, а кто слушает, подходи, пяточок выкладывай, судьбу выгребай... Пожалте, господа почтенные, к ученой мышши... Невидимое чудо двадцатого века...

Публика задерживалась около Мирона, как вода вокруг камня.

Одни, постояв, уходят, другие подходят и, вытянув шеи и глядя на белых мышей, слушают.

Приказчики, прислуга, девочки из модных мастерских с большими мешающими коробками, полотеры с желтыми лицами и желтыми щетками. Стоят, смотрят на маленький ящичек, в котором плотно уложены конвертики с судьбой. Смотрят внимательно; у каждого за равнодушно замкнутым лицом — горе, заботы, изломанная жизнь. И, быть может, в этом конвертике неожиданно ломается судьба, ждет радость.

Останавливались и чистые господа.

Маленький гимназистик с нежными детскими щеками стоит, сутулясь под ранцем на спине, и все вздергивает его на плечи. Он долго стоит и вдруг говорит, сам испугавшись своих слов:

— Дайте мне.

— Чего?

— Мышку... нет, судьбу.

— Пожалуйте пяточок.

Мирон взял мышь и, держа за хвостик, пустил по конвертикам в ящичке. Все с напряжением следили,

как мышь мордочкой и лапками суетливо перебирала конвертики. Мирон незаметно продавил ногтем кончик хвоста, и мышь испуганно выхватила зубами первый попавшийся конверт. Мирон подал гимназисту.

Тот осанисто сделал себе двойной подбородок, распечатал и на маленькой серой бумажке прочел: «Злые враги ваши будут посрамлены, и скоро вы сочетаетесь законным браком с любимой женщиной».

Кругом засмеялись, а гимназист, краснея и конфузясь, бросил бумажку, которую сейчас же бережно подобрали,

— Фу, глупости какие! И вовсе мышь не может узнавать судьбу, — и пошел в гимназию, поддегивая и поправляя плечами ранец.

— А, ну-кась, дай-ксь я, — проговорил с добродушным красным лицом и, как иголками, истыканным носом кучер, с полумешком овса через руку. Не переставая добродушно улыбаться и подняв выжидательно и немного как будто сконфуженно брови, он долго рылся в плисовых штанах и достал пятак.

Опять Мирон пустил по конвертам белую мышь, держа за хвостик.

— Ну, ну, ты по всем пушай... нехай по всем конвертам побегает... пушай хорошенько разнохает мою судьбу...

— На, на, мне не жалко. Вишь, как вынюхивает. Тут уж, брат, без обману.

Мышь вытащила конвертик. Кучер осторожно взял черными толстыми пальцами и стал вертеть, все так же подняв брови и улыбаясь.

— Распечатавай, ты чего, — говорили кругом с нетерпением.

Кучер неловко разорвал и долго вертел бумажку.

— Ну?

— Кто же ее знает, неграмотный я.

— Дай-кась прочту.

Мальчишка из мясной, не ворочая головой, на которой лежала баранья нота, прочел, скосив глаза, по складам:

— «Враги ва-ши по-гиб-нут. Вас о-жи-да-ет бо-гат-ство и сла-ва».

Кучер, не справляясь с раз'езжавшейся до ушей улыбкой и все так же держа поднятыми вверх брови, торопливо взял бумажку и радостно покрутил головой:

— А?! Ешь те с хреном!.. До чего верно!.. Нет, ты скажи... как в аптеке... мать твоя кочержка!..

И он засмеялся заразительным, детским смехом. И все так же улыбаясь и оглядываясь на всех, точно приглашая порадоваться своей радости, говорил тем, кто подходил:

— До чего зараз мышь верно предсказала. Ну, до чего верно... диковина!.. Тварь, а судьбу чувствует!

И сколько ни подходило людей, он не уставал рассказывать про мышь и про судьбу.

— Говорит: враги ваши погибнут...

Целый день ходил Мирон по улицам, по площади и по трактирам, ходил с сознанием не забавы, которую он предлагал людям, а серьезного, важного дела. Ибо знал, что у каждого, как и у него, за плечами горе, забота и измученность, и хотя знал весь механизм

предсказаний, странным оборотом мысли эти предсказания и в его глазах принимали особую жизненную важность, правду и свое значение.

Торговля шла хорошо: штук десять конвертов продал да двух мышей по тридцать копеек.

Закусили и выпил в трактире и с веселыми глазами, когда уже цепочкой зажглись огни вдоль улиц, шел домой с баранками и конфетами для детей.

*

Марфа дорожила, любила своих господ — были они хорошего роду — и блюла их интересы не за страх, а за совесть.

А Антон Спиридонович пренебрежительно отзывался:

— Шелудивые господа... Знаю, ихний папаша гремел в свое время на всю губернию. Бывало, стол не накрывался меньше как на двадцать пять, тридцать персон, а на именины ихние и жены со всего уезду с'езжались, и на триста кувертов не хватало. А лошади! На пять губерний кругом гремели, — огнедышащие львы, и больше ничего. Было. А теперь я перед ним фонбарон. А у них, кроме собак, ничего не осталось.

Действительно, от всего прошлого остался лишь великолепный прононс да удивительная порода каких-то необыкновенно маленьких болонок.

Брат и сестра с громкой когда-то дворянской фамилией жили очень дружно, и обоим было за пятьдесят.

Сестра — старая дева, брат — бездетный вдовец. Она отдавала комнаты жильцам, возилась с болонками и делала гимнастику по Мюллеру, чтоб сохранить бюст; он заботился о своем здоровье да выбирал, простаивая часами перед витринами магазинов, мебель и безделушки, которые собирался купить, когда разбогатеет. Так уходили дни, уходили годы.

Так как каждая копейка была на счету, то сдавались и тупички в кухне, только барыня строго-настрого требовала от Марфы, чтоб платили неослабно в срок и чтоб народ был скромный, непьющий, богобоязненный и чистоплотный. Но на кухню сама никогда не спускалась, и все, что там ни делалось, было так же далеко, как в Китае. К Марфе же относилась ласково и ценила ее преданность.

*

Жизнь на кухне шла, как заведенная машина.

Целый день несло жаром и запахом поджаренного масла от непотухающей плиты, около которой сердито распоряжалась с раскрасневшимся потным лицом Марфа.

Сверху то-и-дело сбегала горничная за блюдами, то к завтраку, то к обеду, то к ужину, и плита переставала работать только часов в двенадцать ночи. Для Марфы не было ни праздников, ни свободных дней. Оттого она была зла, всех ругала. Особенно была зла на детей и на мышей. Мыши были погань, а дети все торчали у плиты и молча смотрели большими ожидающими глазами.

— У-у, несытые!.. Ну, чего выстроились, как частокол... Ступайте в свою нору.

И сердито сунет в рот одному пирожок, другому мяса, третьему ложку рису разваренного и даст шлепка. У детишек весело загорятся глазенки и, торопливо прожевывая, побегут в свою темную нору на вонючую кровать.

А за занавеской печник, Алексей Иваныч уже бубнит пьяным голосом:

— На одну ногу, слышь; на одной ноге... тебе говорят... Н-ну!.. как раки ходят? н-ну!.. Лезь под кровать, живо, те говорят, задом наперед... ну-ну!..

Слышны глухие удары.

— Вылазь... Перекатись через себе... кланяйся в землю... тебе говорят... ну, так. Раз, два, три... девять, десять, одиннадцать... двадцать один, двадцать два... Считай сама, а то замучился.

Слышен слабый притихающий, когда она кланяется, голос Груни:

— ...Тридцать пять... тридцать шесть... тридцать семь...

— Будя, замолчи, тебе говорят, спать не даешь. Стань мордой в угол, стой, покада буду спать. Да на одной ноге стой... Тебе говорят!..

Через некоторое время слышно— храпит Алексей Иваныч, но никто не выходит из-за занавески...

Из своего тупика выходит Глаша.

— Опять?

— Да, опять, окаянный, изымается ни сроку, ни отдыху не дает. Ну, доведись до меня, я б его выучила,

я б ему показала место! Я б из него узелок завязала!

Глядя на Марфу, Глаша думает, что та справилась бы не с одним Алексеем Иванычем.

— И чего она от него не уйдет?

— Ну, вот любит пса.

Груню все жалеют и все ею пользуются: на всех она стирает, бегаёт на посылках, исполняет мелкие работы. Она без устали тянется в работе по сырым прачечным. Но и работать Алексей Иваныч не всегда пускает, требуя в то же время, чтоб была еда и водка. И всегда она в синяках, с подбитыми глазами. Но подбитые глаза лучатся ласковостью и добротой.

Была когда-то Груня замужем за сапожником. Прожили они три года, сапожник взял в дом любовницу, а ее выгнал. Встретилась с Алексеем Иванычем, которого была старше, прилепилась к нему, и вот он ее тиранит восьмой год.

Проспится Алексей Иваныч, зевнет и скажет:

— Грунь, а Грунь!

— Я тут, Алексей Иваныч, — еле ворочая губами, отзовется Груня, стоя на одной ноге.

— Будет тебе стоять-то, иди — може, куда надо.

Груня, с трудом ступая отеками ногами, начинает убирать тупичок.

А Алексей Иваныч выйдет в жилетке и выпущенной рубашке и похаживает по кухне. Он — красавец: черные кудрявые волосы, никогда не чесанные и от этого особенно красивые, цыганское лицо, и, когда говорит, изпод усов сверкают белые, как кипень, зубы.

Он ласков и обходителен.

— И как вы только понимаете насчет кушаньев, Марфа Ивановна.

— Неча заговаривать зубы-то. Груньку меньше б тиранил. Что она, собака тебе?

— Да кто ее тиранит, господи ты, боже мой! — искренно изумляется Алексей Иванович, — живем мы с ней, как муж и жена, и все честно и благородно. Грунь, али ты недовольна на меня?

— Довольна, Алексей Иванович, много довольна вами.

И глаза ее сияют.

Часам к четырем с хрипением, с плеванием, с кашлем просыпается в своем тупичке Антон Спиридоныч. Глаша испуганно и торопливо готовит пиво, чай, умыться.

Тот кашляет затяжным, с генеральскими раскатами кашлем, пока не откашляет, и с налившимся лицом и глазами хрипит:

— Пива!

А Глаша все уже приготовила и льет в пенящийся стакан. Потом, подняв занавеску, начинает убирать тупичок.

У Антона Спиридоныча в тупичке почище, — бумажные, посеревшие от пыли цветы, фотографические карточки на стене, и зеленым коленкором задернуто повешенное на гвозде платье. У Алексея Ивановича попроще, а к Миرونу не влезешь: грязь, тряпье не убрано.

Пока в тупичке убирают, Антон Спиридоныч сидит за пивом в кухне, осунувшись у стола огромным из

одного жиру телом, и тяжело, с хрипящей одышкой дышит.

— Вы вот задвохаетесь, Антон Спиридоныч, — сердито переставляя обожженными руками на пышущей плите кипящую кастрюлю, говорит Марфа, — а об том не подумаете — Глаше завещание написать. Храни бог, не подыметесь, куда она? На улицу. Под забором и сдохнет.

Он сидит, всем телом оплыв табуретку, сопит, уставившись по одному направлению, и тянет пиво, собирая языком с мокрых усов пену.

— Нехорошо, Антон Спиридоныч. Женщина она али нет?

— Знамо, не корова.

— Весь век на вас свой убила.

— А кормит кто?

— Да ведь мало ли она на вас бьется: и сготовит, и постирает, и приберет, и приласкает...

— Фу-у, да на ней мяса совсем ничего.

— День-деньской, погляжу, все округ вас возится — да и на поденщину ходит.

— Даром кормить никто не станет.

И, посопев и обобрав снова насевшую на усы лопающуюся пену, сказал:

— Вон граф Недоносков-Погоуляй, так у него три любовницы в трех концах города. Дескать, куда ни поедет, везде может время приятно провести. Поедет в театр, из театра тут недалеко, пожалуйста. Поедет на заседание — здесь же возле. Поедет за город, воротается — зараз уже ждут.

— Да какая она вам любовница? Шестнадцатый год живете!

Но он сопел и не слушал.

— Эти полторы тыщи как мне достались? со-оком. Тоже не на улице нагреб. Вы думаете, швейцар — так галуны да одна приятность... стоит да пятиалтынные огребает. А то положите, что свету божьего, окромя своей улицы, его и не знаешь.

Он закашлялся и долго хрипло дышал.

— Так я непреклонно решил: сто рублей родне братниной жены, как я одинокий, никого у меня не осталось. Сто рублей на церковь в нашей деревне. Сто рублей на похороны, поминальный обед и на вечное поминовение. А тысяча двести рублей на школу, чтоб училище образовали в нашей деревне.

— Да на какой ляд вам училище? и кабы дети у вас были...

— Нет, нельзя. Господа завсегда жертвуют и отписывают по духовному на университеты и другое высшее учение. Вот наш граф Недоносков-Погуляй отписал десять тысяч на стипендии. Камерюнкер Суздальский основал школу рисования. У всех господ так, заведение такое, сколько я ни жил.

Вечером, когда зажгутся огни, приходит веселый и довольный Мирон с веселыми, трактирными глазами и выкладывает ребятишкам на стол баранки, пряничных лошадей и леденцов. Дети визжат от радости, тянутся к столу, а Марфа ворчит:

— То-то, недотепа. Без бабы дурак-дураком. Замоеет, чтоб накормить ребят, али бы принес чего из одежи,

голые ведь, а он на голодное-то брюхо конфеты им пхает. Мышиная голова.

— Марфа Ивановна, да напрасно, — Мирон в возбужденно веселом настроении, — моя скотинка обслужит, всего заработает, и сыты и обуты будем. Ноньче на рубь на двадцать на пять наторговал.

Так тянется и заканчивается день.

Приходит и дядя Федор, — он торгует свечами в часовне. Придет, всех приветствует, попьет кипяточку без чаю и без сахара, всем скажет по ласковому слову—и к себе в тупичок. Платит он Антону Спиридонычу пятьдесят копеек в месяц, и за это спит у него на полу возле кровати и держит под кроватью зеленый сундук. И каждый раз, как ложится спать, помолится богу, пощупает замочек у сундука, — цел.

Всю свою жизнь дядя Федор провел в деревне. И даже не в деревне, а в лесу, в землянке. Была у него жена и ребятишки. Ребятишки умерли, осталась одна девочка. Затосковалась жена по детям, надоело ей жить в лесу, она и сказала:

— Будь ты проклят, лесовик! — и ушла от него к мещанам в город. Так дядя Федор и не знает, куда она делась.

Вырастил он дочку, перешел с ней в деревню жить. А в деревне летом она нанялась к господам, которые жили на даче. Потом уехала с господами в город и изредка писала отцу, что живет по местам и хорошо живет. Когда, случалось, рублишко пришлет, а то и два.

Так прошло два года. Заскучал дядя Федор. И приехал в город дочку повидать.

Город был громадный, такой громадный, что у дяди Федора от мелькания людей, от движения, от бесчисленных огней, от шума — целый месяц болела голова. В лесу он знал каждое дерево, а тут десять раз проходил мимо своего дома, не узнавал и все расспрашивал, как пройти.

Раза три сидел в участке за то, что богу молился. Как увидит церковь, остановится, скинет шапку и давай молиться, а то поклон земной положит. На панели еще туда-сюда, публике только мешает, а если, случится, переходит рельсы да увидит церковь, тут же снимает шапку и бьет поклоны, не обращая внимания на звонки. Из-за него приходится останавливать вагоны, вагоновожатые ругаются, зовут городского, и дядю Федора с дворником отправляют в участок.

Дочку он разыскал только на второй месяц. Пришел повидать ее, а ему сказали, что ее можно видеть только вечером, днем она спит.

Удивился дядя Федор, но пришел вечером. Долго ждал на кухне, а потом его позвали, и в переднюю вышла дочка, только он ее не узнал. Голые руки и грудь, на лице румянец, а на голове такая огромная шапка волос, что он удивлялся, как голова назад не отвалится, и сказал:

— Когда у тебя, дочка, волосьев столькоросло?

А она все потирала пальчики в кольцах, как будто ей было холодно, и все то засмеется, то глядит на него большими круглыми глазами.

— Вы, папаша, приходите послезавтра... мне хорошо живется... а только у нас сегодня гостей видимо-невид...

Да вдруг упала к нему на грудь, и стали голые плечики у нее вздрагивать. Ничего не понял дядя Федор, только почувствовал что-то страшное в этом огромном, больше всякого леса, городе.

Он только гладил шершавой рукой огромно навороченные, как копна, на ее голове чужие волосы и приговаривал:

— Доченька... доченька... доченька моя...

А она отняла голову от груди.

— Папаша, вы прическу испортите. Вы, папаша, сюда не ходите, а я вас буду проведывать.

Тогда одна упорная мысль овладела дядей Федором: отдать дочку замуж. Поступил он продавать свечи в часовню, там ему платили с пуда. Медленно, капля по капле, зернышко по зернышку собирал он приданое в зеленый сундук и жил постоянно впроголодь.

Лес и лесная жизнь научили дядю Федора неумирающему терпению, но тяжел пуд, долго тянется, и лишь несколько копеек от него остается. «Ничего, все по-ладному», — говорит дядя Федор и начинает читать молитвы на ночь. Уляжется на полу и все поворачивается, то один бок согреет, то другой, — холодило с полу-то.

Глаша спит возле, на кровати. Несется сонное дыхание и из кухни, и от Алексея Иваныча, и ребятишки у Мирона бормочут.

Заведет глаза дядя Федор, и сейчас одно и то же: будто он в лесу и лезет на высокий старый осокорь. Не привыкать стать, цепляется руками и ногами, упирается в ветки, а глянет вниз — земля вот она; подымет голову — не видать верхушек. И будто непременно надо дяде Федору влезть и глянуть поверх деревьев. И знает, увидит — только качаются верхушки, да ветер стонет, а надо лезть, надо глянуть — и страшно, и никак не долезть.

Часу в пятом, когда в доме мертвое царство и с потолка не доходят никакие звуки, дядю Федора будит кашель, хрип и сопение — Антон Спиридоныч пришел со службы. Сидит он красный, расплывшийся по кровати и хрипит:

— Пива!

А Глаша уже суетится, откупоривает приготовленную с вечера бутылку.

— Извольте, Антон Спиридоныч, кушайте, — и кланяется.

Намочит усы Антон Спиридоныч, оберет пену языком и начнет, хрипя и задыхаясь, рассказывать. Закроется, дескать, кинематограф, разойдется публика, запрут двери, а тут самое и начинается настоящее по отдельным кабинетам, которые при кинематографе как будто фойе, — девицы, шампанское, веселье, деньги рекой, и ему, Антону Спиридонычу, хороший доход, и полиция не трогает.

Между кашлем и одышкой Антон Спиридоныч, видимо, всласть рассказывает такое, что дядя Федор, сидя на полу, только скребет в голове да иной раз

сплунет под кровать. Лечь бы уснуть, да не уснешь под эту хрипоту, и прислушивается он мимо рассказа к своему привычному, — бор шумит разногласо и гневливо и в то же время одним ровным могучим голосом.

— О, господи!..

— Вон, граф Недоносков-Погуляй почище нас с тобой, а бывало...

Антон Спиридоныч чем дальше, тем больше распаляется.

— Чего морду-то воротишь? Не хуже нас с тобой, с образованием люди, понимают...

Потом заваливается на кровать, Глаша тушит лампочку, тоже ложится, и при неверно мерцающем свете лампадки на полу виднеется дядя Федор на коленях. Он глядит, не отрываясь, на красный глазок лампадки, размашисто крестится, крепко прижимая, кладет земные поклоны и громко шепчет:

— Господи, приими и сокруши содеянное...

А на кровати хрипло, сквозь одышку:

— Глиста... разве ты женщина?

— ...Господи, еже словам, еже ведением и неведением...

— Иная баба... действительно, а ты что?

— За что вы меня, Антон Спиридоныч?.. Господи, чем же я виновата?..

— ...Спаси и помилуй путешествующих, блудущих...

— Да на кой ты ляд кому сдалась... тьфу!.. отодвинься...

— Господи, да ведь упаду с кровати...

В мерцающей мгле стоят слезы и все тот же неустанный громкий шопот молитвы.

Антон Спиридоныч никак не отдышится, от одышки не может уснуть. Он скашивает глаза на припадающую к полу темную фигуру на коленях.

Дядя Федор, отмолившись, ложится.

— И чего ты, дядя Федор, все поклоны отбиваешь? Не то во святые хочешь залезть, не то капитал приобрести у господи!

— Не говорите таких слов, Антон Спиридоныч, не надо, не хорошо, не гоже...

— Я к тому... не то что к смеху, нет, зачем, а только каждый молится за себя, а чтоб за всех, на то рукополагаются особые должности, сиречь попы. На то у них причт, ладаном кадят и за поборами ездят. Ну, а ты-то чего стараешься? Ведь тебе за это даже в морду не плюнут.

— И вот неправильно, Антон Спиридоныч. Слыхали про Содомгомору? Господь постановил, по благости своей, сжечь за беззаконие. Стал Лот на коленки, просит за грешников. А господь смиростивился и сказывает: ежели девятеро праведников найдется, помилую. Лот туда, сюда — нету! Господи, а ежели хочь шесть? Ну, господь grit: ладно, найдется и шесть, помилую. Лот это опять кинулся, — нету, хошь, што ты хошь, делай. Кинулся опять: господи, ну, если хочь един. Господь подумал, подумал: жалко из-за одного да эва сколько содомцев миловать. Опять же и Лота жалко, просит и говорит: ежели найдется хочь один, окромя тебя, —

помилию. А, сказать, и одного не нашлось; так и сгорели. Теперича я не к тому, что против Лота себя ставлю, боже, упаси, ну, только спят, спит цельный город, и не чувят, что над ними. А может, бедствие обвисло. Может, божий гнев за стенами стоит...

— Так ведь не слышать что-то, чтоб бог города ноне палил.

Дядя Федор покрутил головой, посидел, потом лег, натянул кафтан и завел глаза — скоро вставать к часовне.

Стал засыпать и Антон Спиридоныч, борясь с удушьем, открывая и закрывая глаза, и трепетно мелькающим, воровливым светом озаряет грудь его тела глядящий из угла красный глазок лампадки.

*

Случалось, по праздникам и барыня и квартиранты уезжали на целый вечер. Тогда в Марфином салоне собирались.

Отобедают господа и горничная перестанет прибегать вниз, Марфа приберется по кухне, поставит самовар, накроет кухонный чисто выскребленный стол штопанной скатертью, а на скатерть самовар и баранки; понемногу начинает собираться публика.

Вылезет из своей берлоги Антон Спиридоныч, сопя и кряхтя.

— Садитесь, Антон Спиридоныч, — скажет Марфа с озабоченным видом принимающей хозяйки.

— Что ж, можно единую, — присаживается, и под ним, подаваясь, слегка трещит табурет.

— Мирон Сергеич, вы что же? Приходите, гостями будете. Глаша, иди. И вы, Алексей Иванович. Груня, али тебя просить?

Гости приходят со своим сахаром, хлебом, а чай Марфа заваривает от себя на всех. Впрочем, он ей ничего не стоит, — хозяйские опивки сушит. Перед Антоном Спиридонычем Глаша ставит бутылку пива, а перед Алексеем Ивановичем Груня — полбутылки водки.

Гости бесконечно пьют зеленую водицу, прикусывая сахар и отирая пот. Ведут разговоры.

Прибегает на минутку горничная.

— Садись, Маня, — говорит миролюбиво Марфа.

— Да ведь некогда, зараз уезжают.

— Ну, ну, чашечку.

Та хотя и брезгает этой компанией и наверху пьет вдоволь господского чая с печеньями, которые таскает из буфета, — присаживается на краешек табуретки, чтоб не обмять платья, и начинает пить зеленую водицу.

— Далеко вы от меня сели... поближе, — хрипит Антон Спиридоныч, и глазки у него масленеют, — пивка стаканчик.

— Нет, мерси-с, не люблю, горькое.

— Так можно подсластить, хе-хе-хе...

— Было бы с кем.

— А мы чем же не вышли в порядке?

— Пахнет у вас тут нехорошо, прямо воняет.

Мирон сейчас же настораживается, принимая на свой счет:

— Чем же нехорошо, Марья Александровна? Обыкновенно — человечинной.

— Мышами.

— А что ж такое мышь! Да от нее запах-то чище еще, как от человека. Мышь — зверь, а зверь чистоту свою сам понимает. Взять лошадь. Да многие господа даже любят, как запах дает конский навоз, только чтоб свежий, конечно. А ну-кась, возьми человечесий!..

— Ну, вы уж нарасказываете.

— Вы, Марья Александровна, подождите минуточку, — говорит галантно, хрипя и кашляя, Антон Спиридоныч, — я вам сейчас за церковным вином пошлю, красное и приятное.

— И со святостью.

— Нет, благодарю, побегу, — и убегает по лестнице, шелестя юбками.

Антон Спиридоныч, хрипя и подымая дыханием огромный живот, глядит вслед говаяжьими глазами:

— Аккуратненькая.

Мирон сердито прихлебывает с блюда на пальцах.

— Воняет. Да, может, она, мышь, еще чище тебя. И корова те воняет, а как без коровы в хозяйстве?

Марфа сердито вытерла пот с лица:

— Сказал: корова!.. То корова, а то мышь. Что молоть-то!

— А по какому случаю разница? Только что энтой бог рога насадил. Так у многих коров рога спиливают. А то есть комолые, совсем без рогов от роду, — порода разная. Мышь, корова ли, все одно домашнее животное. Опять же и мышь разной породы. Есть мышь длинная, на манер таксы, и по хребту черная полоса, а есть круглая мышь, а есть головастая. Есть

земляная мышь, есть водяная, есть полевая, есть потолочная, которая по чердакам. А то кладовая мышь, — это особая статья. И до чего умная скотинка: яйца теперича таскать надо в нору. Ну, так катить—бьются. Так старая мышь облапит яйцо, ляжет на спину, а другие ухватят ее, кто за шкуру, кто за хвост, кто за ноги, и тянут ее, стало быть, волоком к норе, а она лежит, и на пузе у ней яйцо. А то вот молоко из кувшинов пьют. Кувшин высокий да узкий, молоко глубоко, туда не влезешь, утонешь. Так мыши обсядут край, спустят хвосты, поболтают в молоке-то, вытянут и обсосут хвосты и опять поболтают в молоке-то, вытянут и обсосут хвосты и опять поболтают и опять оближут. Так и напьются; все молоко вылакают.

— Диковина!

— Тьфу, нечисть!.. Пущай только ко мне залезут, и вам всем тошно станет.

— А то есть поющая мышь. Так эта «матушку голубку» до того ли выводит, за сердце берет, ей-богу.

— Бреши больше.

— Да ей-богу, я, что ли? ученые открыли; так и называется «поющая мышь». Чисто андельским голоском.

— Не греши.

— Сядет это на задние лапки, сама столбиком, головку набок, и...

Мирон вытянул заросшую шею что есть силы, собрал углом над переносицей брови, набрав на лбу

складки, округлил шершавый рот и диким голосом завопил, мотая головой:

— ...Ма-а-ту-у-шка-а, го-о-лу-у-бу-уш-ка, со-о-лны-шка-а ма-а-я-а-а...

Антон Спиридоныч недовольно засопел, затягиваясь папиросой:

— Этак-то ангелы на небеси поют? Сбежишь.

— Ну, до чего умирительно. Так и называется: поющая мышь, фараонова. Фараоны при себе их держат вместо хора.

— Это которые из босова батальона?

— Не, египетские цари, оказать — африканские.

— Что ж ты не заведешь?

— Дорогие, приступу нет. Одна поющая мышь, называемая фараонова, стоит пять тысяч рублей.

— Цена!

— Да чего вы рассказываете,—загремела Марфа, — мышь попадет в кадку, зараз святой водой надо кропить, — погань...

Мирон весь покраснел, надулся и закричал фистулой:

— А почему такое в алтаре кошек пускают?

И, приподнявшись и осмотрев всех, отчеканил:

— Стало быть, мыши есть во святом месте. А вы говорите — погань.

— Мышь в церкви завсегда.

— Ну, то-то!

Антон Спиридоныч запыхтел и сердито заворочал животом:

— Об мышах — разговору другого нету... стало быть, к чаю закуска.

— Тьфу, прости, господи, — плюнула Марфа.

И, вдруг сделавшись совсем другою, проговорила, притихшая:

— Чтой-то Лени нету.

И, подождав и прислушавшись, вздохнула и покликкала:

— Дядя Федор, а дядя Федор, иди, с нами чайку попьешь.

Из-за занавески:

— Ай?

— Иди, говорю, почаевничаешь с нами.

— Ну-к, что ж.

Дядя Федор выходит, отвешивает поклон.

— Помогай вам господи, чтоб на пользу, на потребу.

— Садись, садись, вот сюды, вот хорошо. Ну, как, дядя Федор, шибко торгуете свечами? Небось, на полсундука-то приданого набили?

Дядя Федор крестится, садится и начинает терпеливо, чашка за чашкой, пить чай, так же терпеливо, как вырабатывает он на приданое с пуда: «все по-ладному...»

— Лени чтой-то нету...

— За ваше драгоценное, — говорит Алексей Иванович, запрокидывает черные кудлатые космы и опрокидывает под черные вьющиеся усы рюмку.

Щекастое лицо Марфы зло наливается краской и густо лоснится:

— Драгоценное! А чего Груньку лупишь, окаянный, каждый день, как Сидорову козу.

— Ась?.. Да кто ее этово?.. Ништо-о!..

Он покрутил цыганской головой, облапил, паясничая, Груню и стал ласкать.

Та конфузливо:

— Будя... ну, будя, Алексей Иванович...

— Еще притворяется, идол черномазый. А кто убивает да измывается...

— Кто-о ж это?!—изумленно блеснул белками Алексей Иванович, — али без меня?

— Ы-ы-ы... чтоб тебя! —возмущается Марфа и сердито сморкается, — доведись до меня, я б тебе показала Кузькину мать.

— Трудно нашему брату при ихней сестре,—вздыхнул животом Антон Спиридоныч, — Марфа-то Ивановна по три мужика на каждую руку, и глядеть нечего. Покойного-то мужа, бывало, подымет за шиворот да и швырнет на постель. Он, как котенок, лежит на постели-то, дожидается. Герой женщина нашего времени.

— Ну, а то как же с вами, с кровопивцами.

Алексей Иванович, лохматый и черный, задумался, глядя на самоварный кран, — самовар тоненько и унывно пел. Потом скрутил и заломил собачью ножку, закурил и, наклоняясь к Марфе, проговорил, показывая белые, как кипень, из-под черных усов зубы:

— Какая моя через нее жизнь. Кабы не она, человеком бы я был... сам об себе помышлял...

— Не то в босяки бы попал.

— А хошь и в босяки. Пущай в босяки! По крайности, так бы и знал: босяк. И люди бы знали: босяк.

На роду написано, босяк стало быть. По крайности, звание свое имел бы. А теперя я што? Вольный человек? Нет, все меня тянет в свою нору. Женатый? Не-ет, какая она мене жена. Холостой? Опять же нет: с Грушкой вот сколько годов вяжусь. И не работник я, — чего мне работать, как она меня кормит, али дурак я? Опять же без работы скучно, пить надо. И выходит, потерянный я человек навечно.

Он быстро, торопливо втягивая черные, как сапожный вар щеки, стал затягиваться, и огонь сразу с'ел пол-собачьей ножки.

— Вот, одно — убить ее, и больше ничего.

Марфа Ивановна замахала руками:

— У-у, цыганская образаина...

Прислушалась: снаружи скрипнула дверь.

— Лёшенька!..

Лицо ее засветилось такой бесконечной ласковостью, что за столом притихло.

По лестнице спустился молодой парень лет двадцати двух, в потертом пальто, с втянутыми землистыми, рабочими щеками. Он бросил на кровать картуз, торопливо спеша куда-то, скинул пальто и, так же спеша и торопясь, беспокойно пробежал по лицам большими карими глазами.

— Здравствуйте, мамаша. Антону Спиридоньчу... Честной компании...

— Доброго здоровья... Здравствуйте, Алексей Матвеевич... Наше вам... — нестройно откликнулись из-за стола и любовно раздвинулись, давая место, — садитесь к нам, чайку.

Он был щуплый и торопливый той особенной нервной торопливостью, для которой дорога каждая свободная минутка и которая вырабатывается вечной, неперемежающейся работой. Сел на табуретку, согнувшись, вдавив плоскую грудь, и взял рабочими, с чернов'евшимся железом и маслом, руками налитую матерью огромную пегую чашку с чаем.

— Ну, как у вас? — прохрипел Антон Спиридоныч.

— Да что, — отозвался Алексей.

— Лёшенька, ты бы с крендельками.

Это была совсем другая Марфа Ивановна. Уже не было ни пожарных, ни городских, ни приказчиков из мясной, ни соседских дворников, а были только материнские глаза, сияющие бесконечной любовью, бесконечной гордостью, бесконечной, где-то глубоко запрятанной тревогой за сына, за единственного в мире. Она и вся как будто стала меньше, только глаза сияют.

И кругом за столом как будто подчинялись этой материнской гордости. И Алексей Иванович, докуривая собачью ножку, и Антон Спиридоныч, нося животом, и Груня, и Глаша, и Мирон точно слегка повернулись к Алексею. Только дядя Федор терпеливо пил чай, попрежнему без сахара, прихлебывая с капельками пота на носу горячую воду, как бы разумея: «ну-к, что ж... все по-ладному...»

— А то, — заспешил-заговорил, смахнув жиденькие, крысиные усы, Алексей, заспешил, как будто не видел, да и надобности в них не было, кто сидел, а принес свое тревожное, недоконченное, беспокой-

ное,— а-а, мол, так: тят-ляп... не-ет... не-ет... Говорил он торопливо, и торопливо вовсе не потому, что ему хотелось,пил из рябого блюдца, обжигаясь и моргая без надобности, — ага... не в этом штука... безделица!..

— Ну, да, конечно, понимаем, — и Алексей Иванович дружелюбно снова запрокинул кудлатую голову и влил под усами между белых зубов рюмку, — за нас за бездомных... ну, как же, понимаем...

— О, господи, господи!.. Да ведь... — да не докончила и вытерла вдруг покрасневшие глаза Марфа Ивановна.

И хотя Антон Спиридоныч был другого мнения и как бы из другого царства, опустил живот и сказал:

— Князь Грязной-Прокудин так-то сказал: от Питера до Москвы ихними виселицами устави́л бы, будь моя полная власть, и чтоб вороньё растаскало. Д-да, потому закон, строгость.

Марфа Ивановна заплакала:

— Лёшенька!..

Антон Спиридоныч шумно выдохнул и, как бы снисходя и признавая законность материнского горя, подавляя кашель, прохрипел:

— Ему легко говорить: сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии...

— Мыша есть где разводить, — вставил Мирон.

Антон Спиридоныч не удержался, закашлялся, трясясь, весь огромный и красный.

Алексей, как ужаленный, заметался, беспокойный и не находя места:

— Да разве в этом штука?! А-а...

В двери, резко и странно выделяясь, колебалась перьями огромная шляпа, а у горла краснел красный шелковый бант.

— Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, Алексей Матвееч.

Она подала руку, а остальным кивнула головой, и перья на шляпе затанцовали.

Никто не подвинулся, не глянул. Дядя Федор сказал:

— Ну-ну, садись, чайку попьешь; я напился... ничего...

Он налил, не всполаскивая, глиняную кружку.

У девушки раздувались красиво вырезанные ноздри, из-под тонких бровей блестели глаза, а на худеньком личике — крикливый румянец.

— Обожатель подвез, — сказала она, нагло оглядывая всех, лишь пропустив Алексея, — до страсти люблю на автомобиле; на извозчиков глядеть не могу.

На ней было расшитое пальто, которое она не снимала, а на голове колебалась перьями шляпа...

Поискала глазами сахар, но у дяди Федора не было, а из тех никто не предложил, и стала пить, будто не замечая.

Марфа Ивановна громко прикусывала сахар.

Девушка, так же делая наглые глаза, — начхать, дескать, мне на вас на всех, — и щеголяя развязностью, сказала:

— Ну, как, Мирон Сергеич, поживают ваши мыши?

— Мышь тебя не касается, — сказал Мирон, схлебывая с блюдца, и, склонив голову, налил из пузатой чашки, — мышь себя блюдет, не то что...

— Вешал бы таких, будь моя власть!.. — сказал Антон Спиридоныч, ни к кому не обращаясь, но все молчаливо поняли, к кому это относится.

Алексея точно укололо. Он опять заметался, беспокойно бегая глазами, смахивая жидкие усы, дергая плечом:

— Не в том дело... Эка невидаль — тюрьма!.. да в одиночке наш брат отдохнет, по крайности, а то нет? Да хоть вздернут... ну, что!! Намаешься, ну, устал, тебя ... прямо ложись, помирай, задохся, все на тебя... Невидаль!..

— Господи, Лёшенька, перекрестись!..

— Не в том дело, говорю... Наш брат из десяти девять тюрьмы понюхал, не страшно... А вот...

Он уставился на них глазами, побледнел и зашептал:

— В этом месяце... товарищ у меня, просто друг... одна чашка, одна ложка... сны одни видим... вдруг скажут: продает. Вскочил я: «Архип!?» — «Продает», — говорят. «Это —Архип?!» — «Продает...» Ухватил я ножичек, сразмаху в ладонь себе... наскрозь... кончик вышел... — он показал заструпившуюся с обеих сторон рану,—вот! Когда кровь не пойдет из меня, тогда поверю... режьте мясо с костей... А они: ты, говорят, не прыгай, не меньше тебя друг нам, ты смотри на факты жизни. Первое, как соберемся, где он побывает, — аресты на другой день, уж непременно. Сходку назначим, ежели он знает, полиция непременно, накроет. Он тебе друг, это, говорят, понимаем, и нам товарищ, а дело впереди всего. Он тебе

друг, а страдают тысячи народу. Ты за него, говорят, мясо с себя режешь, а за дело, говорят, и всю шкуру приходится снять. Не поверю, говорю, — доказательства. Изволь, говорят, с этого бы и начинал.

Стали следить. Глядим, под вечер городовик к нему. Товарищ один прокрался, — городовик прямо в комнату к Архипу... часа три у него пробыл, потом ушел... Эх, т-ты-ы!..

Алексей завертелся, оскалив зубы, точно ему прихлопнули палец дверьми.

— Что? — говорят. Ну, давайте, говорят, проверим окончательно. Назначили сходку у Архипа в десять вечера. А в девять, — к нему никто не пошел, а расставили посты на улице и стали караулить, — а в девять к нему в квартиру прошел пристав и два околотка, а на улице у ворот городовика поставили. Ну, ясно?

Он измученно оглядел всех.

Девушка сидела с обвисшими перьями, с горестно опущенными углами рта, с иссиня помертвевшими, резко очерченными на бледном лице румянами, смо-трела на Алексея глазами побитой собаки и все потирала маленькие в кольцах руки, как будто ей было холодно.

— Ну, что, — говорят, что?.. А-ха-ха-ха!..

Алексей засмеялся и забегал глазами. Весь ссутулится и опять зашептал:

— Мне его... то-есть Архипа... досталось... Узелки тянули... Пойдем, говорю... ночью, часов двенадцать было... пойдем, говорю, пойдем... Удивился: ночью!.. Ну-к, что ж, говорю, голова болит. Пошли. Улицы,

как мертвые. Фонари дымятся... кое-где... глаза протираю — дымятся!.. Веду его, господи, веду его, друга своего. Долго шли, на кладбище пришли. Черно, памятники маячат. Сели на плиту. Он говорит: чудной ты нынче. А я... засмеялся. Сам не знаю, чего засмеялся. Пощупал браунинг в кармане да говорю: давай, выпьем, — две сотки у меня в кармане, пусть, думаю, в последний раз, а сам стал считать до пятидесяти; думаю, досчитаю до пятидесяти и... чтоб не мучился... А он говорит: не хочу, завтра рано вставать. — Чего так? — На квартиру, говорит, новую перехожу... — Почему такое? (а у меня в голове: двадцать три... двадцать пять... двадцать семь...) — Да, говорит, не нравится хозяйка, надоело, с полицией больно дружбу водит... — Ну? (двадцать девять... тридцать...) — На прошлой неделе именинница была, так пьянствовали до утра: пристав, два околотка. Я ухватил за руку: как звать? — Да Марья же, двадцать второго июля. — Это когда сходку назначили? — Ну-ну, самое. Хорошо, что не пришли. Мне-то послать некого, а сбегать — кто-нибудь придет. — А зачем городовик у ворот? — Да для посылок же, за вином, в магазины все с заднего хода ходил; а Марья Васильевна ему водки все с заднего хода выносила. — А который к тебе все городовик приходил? — Когда? — Да недели с три назад. — Да, Прощка же, брат!.. Ах, ты!.. знаю же, Прощка же, двоюродный брат его... на нелегальном. Бывало, придет, все городовиком одевался — безопасней; какой околоток и спросит: с поручением, дескать, секретным, туда-то, ну и ладно. Задал еще вопросов, — все просто

объясняется... Упал я, целую ему коленки... Испужался он, поднял, повел, думал, — с ума я сошел...

Алексей поворачивал ко всем длинную шею и не то смеялся, не то судорожно икал:

— Чтожж этто... что ж ж этто!..

— Лёшенька... родимый мой!!

Мирон ушел в угол возиться с мышами.

Антон Спиридоныч сопел, затягиваясь толстой, как бревно, самодельной папироской.

— Теперь везде пошли фонари газовые, не могут коптеть; прежде керосиновые, так коптели.

Девушка все с теми же собачьими глазами, так же торопливо и нервно, как будто заразилась от Алексея или у них было одно ремесло, дергалась, вздрагивая, оглядывалась и все потирала маленькие озябшие в кольцах руки, насилуя перехватывавшие горло спазмы:

— Я все... все... Алексей Матвеич... господи!.. да разве... — и, судорожно схватив, поцеловала Алексею руку, а тот залаял захлебывающимися звуками, прижимая лицо к столу.

— Лёшенька, да господь с тобой... дай-ка я тебе чайку налью... умыть тебя с глазу ужо... родимый ты мой!..

Алексей Иваныч, рассолодельный от водки, говорил, заплетаясь:

— Ошибка в хвалышь не ставится... Вот, Грунька, так-то с тобой... Учись... Что ты и что я?!.. Чтоб духу твоего не было... Хочешь жить?!.. Па-аскуда!..

А у нее сияли бесконечной добротой и счастьем глаза:

— Вы бы легли, Алексей Иваныч, — я вам постельку приготовила.

А около дяди Федора сидела совсем уже другая. Она гордо встряхнула заколыхавшимися на шляпе перьями; на щеках нагло кричал яркий румянец; презрительно сузила глазки, не спеша, умело надевала на маленькие руки с кольцами длинные перчатки.

— Я, папаша, пойду... Кавалер на автомобиле обещался, — не выношу извозчиков. Не хочу, чтобы сюда шоффер зашел, — воняет, и подвал совсем.

— Ну-к, что ж... ладно.

У Марфы Ивановны густо надулись покрасневшие щеки:

— Скатертью дорога.

Дядя Федор пошел за девушкой проводить, а она шла, презирая, как королева, шевеля перьями, и лишь кивнула Алексею.

Алексей поднялся, холодно оглядел всех:

— Эх, слепота, вы все, темь. Из вас на борьбу и лыка не сошьешь. Подвал подвалом и есть. Сдохнете тут. Туда вам и дорога.

*

В летнее время ребятишкам рай. Чем свет Анька подхватывает маленького под животик и, перегнувшись назад, как кошка котенка, вытаскивает наружу, а он, весь обвиснув, выжидательно молчит. Сенька с голым животом ковыляет вслед.

Старое корявое дерево, на памяти которого, где теперь стоят покосившиеся уже дома, расстился

когда-то пустырь, зеленеет скудными листьями по растопыренным почернелым ветвям. Прилетают воробьи, приходит, выгнув спину, кошка, и ребятишки без умолку чирикают в жидкой, слегка шевелящейся по земле тени.

У Мирона а теплое время торговля идет отлично. Только случилась история в Васькой.

Пришел как-то Васька вечером и на вопрос Мирона заложил руки в карманы и нагло сказал:

— Нету денег... не торговал...

Мирон рот разинул:

— А-а?..

Потом, придя в себя и вытаращив глаза, спросил:

— А мыши?

— Полицейский заарестовал.

Васька нагло не вынимал рук из карманов. Мирон подскочил, сунул к Васькиному рту нос, потянул: от Васьки густо несло водкой. Мирон молча размахнулся и ударил по лицу. Васька, не вынимая рук, поддал ногой в живот. Они сцепились, повалились на пол, и Мирон почувствовал, что сила у сына.

Ночью Васька ушел, захватив двадцать лучших мышей, и уж больше не возвращался, — так и канул. Говорили — открыл свою мышиную фабрику, а другие говорили, что спознался с хулиганами. Отец проклял, но изредка, ворочаясь в субботу вечером, когда доносился сквозь уличный шум благовест ближайшей церкви, спрашивал:

— Не приходил Васька?

На что неизменно и зло Марфа отвечала:

— Жди, — в остроге, небось, устроился.

А Мирон, помолчав, с гордостью говорил:

— Не пропадет: мышь выручит... По крайности, рукомесло за плечьми.

Осенью, когда пришла сырость и на землю скучно валил мокрый, сейчас же таявший, снег, бог прибрал у Мирона маленького, и всем на кухне стало не доставать этой вечно мокрой, завязанной на спинке узелком рубашонки и голенюго посинелого зада, торопливо пересаживавшегося на холодных каменных плитах. Прежде его как-то не замечали или сердились, когда он попадался под ноги или делал лужи на полу, а теперь точно подвал опустел, и кто-нибудь нет-нет и скажет:

— Ванятки-то нету.

Мирон сам нес гробик, шагая по липкой грязи на мостовой, и ветер шевелил его волосы и охлаждал сухие глаза. Посыпалась земля на маленький тесовый гробик. Мирон ударил шапкой оземь:

— Эх, Ванятка, не пришлось нам с тобой пожить, похозяйничать. А я б уж тебе не пожалел, достал бы мыша настоящего, фараонова... жил бы ты припеваючи... сыночек ты мой!.. — и заплакал.

А когда воротился, позвал Аньку и велел надеть на Сеньку свои старые, изорванные сапоги обрезать и подшить, чтоб не волочились, старые штаны.

— Будя ему голопузому бегать: от людей срамно.

И когда она подошла, поднял глаза, как в свое время на Ваську, и увидел ее в первый раз.

Перед ним — тоненькая, как лозинка, девочка с зеленым личиком, на котором не детская усталость; от

носа к углам губ, как иголкой, проведены морщинки; под глазами темная синева, а ресницы густые и длинные.

— Да тебя замуж скоро отдавать, а ты рукодела никакого не знаешь. Мышь — дело мужинское, баба к ней неспособна; это те не коров доить, тут ума положение. А тебе шить, знай иголку, и больше ничего.

В тот же вечер Мирон отправился к знакомому трактирщику и подарил ему клетку с двумя мышами, — у трактирщика сестра содержала дамскую мастерскую. А на другое воскресенье отвел Аньку на место.

Редко навевывалась Анька, — не пускали. А и придет, отца не видит, — если пустят, так только в воскресенье, а в воскресенье у Мирона самая торговля, и его целый день нет дома.

— Ну, и растешь ты, девка, ишь, тянешься, как вербочка на мокром месте. А все толку с тебя нету: как была дохлая, так и посейчас. Ну, как?

И начнет Марфа расспрашивать про житье, а сама сунет пирожок, либо вчерашнюю котлету. Девочка нехотя, застенчиво ест, и только и слышно от нее: «нет»... «так»... «ничего»... А на лице усталость, и под глазами — глубокая недетская синева не то от густых ресниц, не то от чего другого.

Сидит, смотрит и молчит — и не хочется уходить от родимого места. Все знакомо до последней пылинки. Та же рассевшаяся печь, те же полки, посуда на них, бархатисто-зеленая плесень у кровати. С потолка смутно падает знакомый гул, — должно быть, на рояли. В тупичке дядя Федор истово крестится, доносится

его привычный шопот, и глядит, не отвечая, красный глазок лампадки.

А у себя на кровати сидит Алексей Иваныч, лохматый; расстегнутый ворот отвис, и грудь вся в черных космах.

Перед ним — траурно коптящая лампочка, с зазубренным горлышком недопитая полбутылка и Груня с вздернутым носиком, с голубыми глазами.

Алексей Иваныч качает босой с большими желваками ногой, и Аня слышит знакомое:

— Грунь, а Грунь, брось ты меня.

— Бросьте вы меня, Алексей Иваныч.

— А?.. Какая моя жизнь?.. Что я?.. Пень обгорелый...

Груня стоит перед ним толстенькая, коротенькая, как тумбочка при панели, с добрыми морщинками у глаз, бесконечно сияющих, в которых — незамутненное, без пятнышка, голубое небо.

Он глядит на нее, и глаза наливаются кровавой злобой.

— Брось!!

И все тем же бесконечным самоотвержением и радостной готовностью слышится ее голос, который как бы продолжение ее голубых глаз:

— Бросьте вы меня, Алексей Иваныч... За вас всякая пойдет и с деньгами... А я вам, Алексей Иваныч, буду помогать... на глаза не буду показываться, буду присылать...

Отливает тугая волна от коротко и жутко бьющегося сердца и, передохнув, говорит Алексей Иваныч;

— Жалко мне тебя, Груня, вот жалко... и неизвестно, почему... Убил бы вот... одним махом... и больше никаких... пикнуть не успеешь... цокнуть по башке... сверху ррраз!.. — он сжимает туго огромный, в черных мозолях, волосатый кулак, — одна шея останется, больше ничего... а вот жалко... бросить... Глянешь, и сердце отойдет, как растает... Жалко бросить, и бить-то я тебя до дела не могу... а придет время, убью... быть мне на каторге...

Она стоит перед ним с сияющими глазами.

— Убью я тебя когда ни то, Грунь...

У нее сияют глаза.

Вечером придет Мирон, непременно спросит:

— Была Анька?

Марфа осерчает:

— Ну, была. Замуж тебе надо ее отдавать.

— А что ж! Это мы можем и даже с превеликим. Это мы оборудуем одним духом, была бы охота. Мышь, он не выдаст. Приданое — изволь; обнова а ли там шляпку али хвальшивую косу на голову — раз плюнуть, потому она животная понимающая и с образованием.

По утрам, как всегда, Мирон с мышами выходит за ворота, — все то же, те же дома, трактиры, улицы. А за улицами, такие же знакомые, другие улицы, знакомые площади, дома, магазины, трактиры.

С некоторых пор его преследует, точит странная мысль о «веселом месте».

Веселое место!..

Он сам не умеет сказать себе, что это, и никогда не говорит об этом вслух, потому что начнешь говорить словами, выходит чудно, но смутное ощущение, скорей ожидание, никогда не гаснет, точит. Где оно? Какое оно? И как к нему пройти? И будто туда тесные и узкие переулочки и со всех сторон высокие слепые, без окон, стены...

Глянет Мирон, по знакомым улицам снует народ, гудя, с грохотом переходят на стрелках и, роняя синие искры, бегут полные людей трамваи, гукают проносящиеся автомобили. И надо торговать мышами, и никто не может сказать, да и не спрашивает он, да и знает, — нет такого места.

Стал попивать Мирон. Выпивал он и прежде, но прежде выпивал весело, деловито — должность такая, с хорошими людьми встречался, зазовут в трактир, угостят, отказаться нельзя.

Теперь же запивал тяжело — самому себе не в радость.

Если приходил домой с красными глазами, дико, до бесчувствия порол Сеньку, неизвестно за что.

Если же насилу влезал, толкаясь о притолоки, выписывая мыслете, значит был в отличном расположении духа. Вытаскивал баранки, угощал орехами и поил Сеньку водкой. Целую ночь пел песни, а чтоб не слышать было и чтоб не серчала Марфа, ложился на кровать лицом в армяк, забирал армяк в зубы и пел глухим, задавленным голосом: «Ма-ату-шки, го-о-лу-у-бушки-и...», а Сенька спал, положив голову на стол возле бутылки.

Как-то Мирон пропал. Сенька слонялся по кухне, смотря, как умел, за мышами, и Марфа его подкармливала. Все-таки половина мышей подохла и разбежалась.

Под конец Сенька лег на кровать, уткнулся в тряпье и стал тянуть однообразно и тоскливо:

— Па-па-ня-а-а-а . . . — однообразно, тоскливо, как голодный волчонок на околице.

Чернеют занесенные снегом избы; ни огонька, ни собачьего лая. И оттого, что в пустынном воздухе мертво, еще более одиноко, заброшенно тянет, подняв усталую мордочку, брошенный волчонок.

— Па-па-ня-а-а-а!.. ы-ы-ы...

Явился Мирон через неделю. Сенька глянул и завыл пуще: Мирон был в опорах вместо сапог, а вместо одежды лохмотья, и под глазами густые фонари.

— Ну, чего воешь, паршивый!.. — и ударил, но вяло, как будто устал.

Что бы ни случилось в полуподвале, какие ни приходили события, казалось, все укладывается в определенный закономерный порядок, — так и следует тому быть. И продолжают жить попрежнему, не останавливаясь, не оглядываясь, изо дня в день.

Но случилось событие, которое легло рубежом, которое переломило жизнь на-двое — до и после, точно потемнело с тех пор. И все было просто.

Отворилась дверь, просунулся с оттопырившейся сумкой и синим кантом почтальон и сказал строго:

— Марфе Ивановне Козыревой.

И, нащупав ногой, спустился по ступеням, — со свету темно в полуподвале

— А? Кого надо?

— Марфе Ивановне Козыревой.

— Я самая.

— Чего же молчите? Одна вы, что ль, возиться тут с вами.

Подав письмо и сердито ушел.

Повертела письмо Марфа Ивановна, поудивлялась, откуда бы это — не получала ни от кого писем, сунула под подушку и опять продолжала возиться с потным лицом около пышущей плиты.

Только когда проснулся к вечеру Антон Спиридоныч, надел железные очки, долго смотрел и сказал хрипло:

— Из тюрьмы.

Марфа обомлела, а он начал читать:

— «Мамаша, судьба моя конченная, только вы не убивайтесь, потому, снявши голову, по волосам не плачут. Хотел вас повидать, да не дают свидания. Скоро меня отсюда увезут, и вы себя даром ее убивайте. Меня... (несколько строк заляпано черной краской)... просил прокурора. Прощайте, мамаша. И до последнего вздыхания буду об вас помнить. Любящий сын Алексей».

Марфа обезумела и кинулась к господам. Там сказали, что ничего сделать нельзя. Раза два ее отпускали, и она бегала по всем учреждениям, где могла. Но всюду было чуждо, холодно и равнодушно. Никто ничего не знал, одни посылали к другим, и все явно старались

сбыть ее с рук с ее горем, слезами и приставаниями,— у всех было свое.

Точно потемнело в полуподвале.

— Понимаем... за нас за бездомных... — говорил Алексей Иваныч.

— Конечно, хоть бы мышом дозволяли заниматься, все-таки не так скучно, занятие; да и, сказать, руко-месло, за плечьями не носить: с завода выгнали, мышь прокормит. Это как сказать.

— Жалко, — прохрипел Антон Спиридоныч.— Конечно, противозаконно, нечего говорить, а жалко. И то сказать, сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии, не всякому понравится. Д-да, для других себя не жалел...

И не потому, что Марфа была на положении полухозяйки, а болело у всех где-то в глубине. Каким-то близким и родным чуялся этот парень, постоянно мучимый беспокойством и торопливостью. Уже не придет, не сбросит торопливо потертое пальто и засаленный картуз, не станет, обжигаясь, хлебать из пегой чашки, совсем не отдавая себе отчета, что делает, думая о своем, не принесет живых, вчуже странно волнующих рассказов с воли.

С тех пор не узнать Марфы. Уже забыла и думать о городских, дворниках, приказчиках из мясной. Стала худеть и сохнуть и, как черничка, всегда в черном. Попрежнему торопливо возится у жаркой плиты с бледным и потным лицом, отдаст горничной блюдо, урвется и торопливо и горько, сердце разрывающими слезами поплачет, а там опять кипящие кастрюли, дымящиеся,

горячим маслом обжигающие руки сковороды. И опять в передышку поплачет.

И не к кому пойти, некому обнадежить, сказать слово утешения — у всякого свое. Да и не ждет и не думает об этом Марфа.

Но когда за занавеской не бубнит пьяный голос: «стань на одну ногу... как раки ходють?» — Марфа, подняв заплаканные глаза, неизменно встречает радостно сияющие глаза Груни. И хотя нет такого утешения и не высушить материнских слез, все же с благодарностью глядит Марфа на Груню, на ее вздернутый носик, на круглое чудное лицо, цвета дубленой кожи, освещенное сиянием чудесных глаз.

И ничего особенного она не скажет, скажет лишь:

— Марфа Ивановна, родная вы моя... ну, куда же денешься... Господь оглянется, его воля... И не ждешь, ан, счастье обернется, да ласка, да удача... Так-то и мой Алексей Иваныч: убью да убью, а оглянешься, а он любит вот до чего...

И поплачут обе.

И не в словах дело, не в том, что говорит Груня, а в убежденности, крепком ожидании, которое лучится от ее слов и от глаз, от всей ее фигуры.

День за днем проходит, а для Марфы как будто все тот же страшный день, когда отворил дверь почта-лион и, шупая ногой ступеньку, сказал громко и начальнически:

— Марфа Ивановна Козырева здесь?

Днем перестали отпускать господ Марфу, — нельзя же без обеда сидеть, а вечером все учреждения закры-

ты, да и отовсюду стали ее гнать — надоела, а бросить место не в силах — все здесь напоминает Лёшеньку, и здесь она в последний раз его видела. Как живой, он стоит перед ней, торопливо сбрасывает пальто, картуз и торопливо, оглядываясь и не зная, куда деть, говорит, а щеки землистые, ввалились, и нос востренький. И плачет Марфа Ивановна.

Одно утешение осталось у Марфы. Уберется с обедом, с посудой и потихоньку урвется да дома. Сядет на трамвай и проедет к тюрьме. А тюрьма стоит, как невеста, вся белая и в огнях, и ослепительно все заливают кругом электрические фонари.

Кругом спешит публика, звонят трамвайные звонки, несутся лихачи, спотыкаясь, спешат извозчики лошаденки, а Марфа стоит одна, зажимая в комочек свернутый платок и плачет, поминутно утираясь, и среди бесчисленных окон выискивает одно дорогое окно. Их множество, и все они одинаково освещены, и ни в одном никого не видно.

Сна выберет какое-нибудь одно и стоит, и ждет, и утирает неудержимые слезы.

В городе много тюрем, но ей кажется, что именно в этой тюрьме сын. В тюрьме множество окон, и ей кажется, — именно за этим окном сын. Долго стоит и смотрит, потом уезжает.

А дома достанет измятый, протертый по складкам листок, накрест промазанный чем-то желтым, и просит:

— Антон Спиридоныч, родной мой, почитай ты мне

— Да и читать-то там нечего.

Все-таки надевает железные очки, откашляется и хрипло начинает:

— «Мамаша, судьба моя конченная... Любящий сын Алексей».

Он снимает очки, а она глотает слезы и тщательно прячет письмо, — больше писем не приходило. И кажется ей прежняя жизнь такой, что счастливее и светлей не бывает и в хоромах.

*

Глаша спала усталая крепко и не могла проснуться, а по крыше кто-то гремел железными листами, не переставая.

«Господи, чтой-то?! Али Антону Спиридонычу нужно пива?» — думала она и знала, что думает во сне, — но железными листами так нестерпимо гремели, что необходимо было проснуться, а проснуться не могла, стала дрожать в холодном поту и просить: «будет... ну, будет»...

На крыше, не устая, гремели железом.

Она собрала все силы, перестала дышать и... поднялась на локте, дико глядя широко открытыми глазами: возле горой лежал Антон Спиридоныч неподвижной страшной горой и, не переставая, лопотал: «лла-ла-лла-ллл»...

Дядя Федор клал на полу возле кровати поклоны, глядя на красный глазок лампадки:

— ... Блудущих, путешествующих и всех православных христиан спаси и помилуй!

— Господи-и!! — пронзительно закричала Глаша. Дядя Федор положил последний поклон, поднялся и заглянул в лицо Антону Спиридонычу.

— Эх, сердешный!.. Язык отнялся... Надоть воды...

Глаша, не переставая, отчаянно кричала пронзительным голосам.

— Да ты что раздираешься... — закричала Марфа, — господ побудишь...

Но глянула на Антона Спиридоныча и часто закре-стилась:

— Свят... свят... свят...

В потолок равнодушно глядел из-под полуспущенного неподвижного века остановившийся глаз; другой глаз беспокойно и торопливо моргал и все скашивался, ища Глашу.

А она кричала:

— Господи!.. Ну, куда я теперь с тобой, с Иродом?.. Не написал духовного... Побираться, что ли?.. Да что я за несчастная!..

Она выла, а на Антона Спиридоныча лили воду, растирали, но все так же равнодушно из-под мертвого века глядел неподвижный глаз, а другой торопливо, беспокойно моргал, и по небритой, щетинистой с проседью щеке ползла, цепляясь, тяжелая слеза, и стояло:

— ...Ллла-лла-лла-ллл...

К концу недели Антону Спиридонычу стало лучше. С помощью Глаши он мог перейти до стола в кухне, все так же глядя перед собой неподвижно равнодушным глазом, волоча ногу, и левая рука висела, как плеть.

Теперь Глаша с утра до вечера бегала на поденную, а, когда ворочалась вечером, только и слышался ее крикливый голос:

— Идол толстый! Корми его... Сам и ходить не может, а жрет в три утробы... Жизнь мою заел... не умел сдохнуть во-время.

А он жалобно оправдывается:

— ... Лла-ллла-лла-ллл ...

*

За кухонным столом, покрытым штопанной скатертью, как и бывало, чаевничают со своим чаем-сахаром.

Прихлебывает Мирон с горячего блюда, и нос у него красный. Тут же, шмыгая отцовскими сапогами, загоняет Сенька мышей в ящик, — и всего-то их с десяток. Только и осталось у Мирона, что Сенька да горсточка мышей.

Привела Глаша и Антона Спиридоныча. Он тащит ногу, рука висит, глаз мертвенно неподвижен, а другой, живой, любовно ощупывает всех за столом, и трудный, неслушающийся язык ласково и настойчиво лопочет:

— Ллл-лла-лла-ллл...

— Ну, садись, толстопузый Ирод!.. И когда только околеешь, окаянный, нет на тебе износу...

По обыкновению, чашка за чашкой терпеливо пьет без сахара, отирая взмокшее лицо, дядя Федор, как бы говоря всем своим видом: «ну-к, что ж, ничего... ничего... почаевничаем, милые... всяк знак на потребу»...

И дочка возле. Она теперь часто наведывается, но без шляпы, в платочке, испитая и с желтыми пятнами. Уже не приезжает на автомобиле, а, когда приходит, просит, чтоб другие не слыхали:

— Папаша, вы уж достаньте мне еще чего-нибудь из сундука, а то обносила до того...

Дядя Федор почешет в затылке:

— Эх, доченька!

И лезет в заветный сундук, а в сундуке-то на доньшке, не прибавляется, а убавляется, — все повыудила дочка. И хоть по привычке в нитку тянется дядя Федор, понимает — не к свадьбе дело.

С ласковыми, тихо сияющими голубыми глазами пьет чай Груня почернелым от выбитых зубов ртом, и одно опухшее веко у нее вывернуто.

Только Алексея Иваныча нет, пьянствует и редко заглядывает домой, а завернет, — страшно становится в полуподвале.

Тихонько прихлебывают горяченькую водицу, изредка перекидываются словом, как будто сердцем все пережито, и для слов ничего не осталось.

— Ухи бычьи ноньче как подорожали!

— Страсть...

— Варишь-варишь — и нет ништо, как тряпки.

Сенька тихонько сидит в углу на каменном полу и, молча, запустив палец, ковыряет дыру надетого отцовского сапога; мальчик умеет молчать, — его голоса никогда не слышно.

С потолка глухо, как дальний гул по мостовой, падает, — жиличка на фортепиане обучает учениц, и этот

глухой, тяжелый, неустанный гул наполняет кухню и тупички, замирая в толстых стенах.

— Под музыку, — говорит Мирон, громко с хлебывая с блюда.

Опять молча тянут, обжигаясь губами, и без конца подставляют под самоварный кран разных мастей чашки, но все до одной пузатые.

И опять кто-нибудь скажет:

— Сказывают, дом об двадцати этажах супротив нас будут строить.

— Как же на него лазить?

— Известно, на машине летать будут.

— Так господа летать будут, а прислуга?

Опять молчаливое с хлебыванье. А Мирон подумает, вспомнит, допьет чашку и, пока набегает из крана, скажет:

— Не, острог будут строить, для острожного помещения.

Мирон принимается за чашку, а уж из всех углов поползла темная, всегда таящаяся, неумирающая тоска.

— Господи, хоть бы одним глазком на него глянуть. Где он теперь, родимый?

И всхлипнет и утрет краем фартука налившиеся слезами глаза. Не узнать Марфы Ивановны — худенькая, сухонькая стала.

И всем близка ее боль.

— Господь терпел и нам велел, — говорит Мирон, наливая девятую чашку: уже пот давно, как бисером, осыпал красный нос.

— Куда же терпеть-то, — вскипает Глаша, — ну, я терпела, терпела, вот дотерпелась себе на шею эту требуху: корми теперь его... Докуда же терпеть-то?!

— Жалуются люди, а разве угадаешь. Вот бы на свет божий не глядел, а вот солнышко выглянет, и-и... ласковое!..

И поглядела Груня на всех голубыми глазами, застенчиво улыбаясь.

— А почему такое, Груняха, у тебя морда подбитая? — спросил МIRON и пошевелил бровями, чтобы не попал пот в глаза.

Дядя Федор вытер зажатым рукавом лицо и, закинув руку, шею и затылок:

— Так-то пустынный один жил в лесу... обнакоженно спасался. Да, святой жизни. Ну, хорошо! Прознал бес про это дело. Вскинулось в одну душу — искусить.

— Эта их самая занятая, — подтвердил МIRON.

— Да ну ты с бесами — и без них тошно, — сказала Марфа Ивановна, вытащила истрепанный, и слов не разберешь, листок и глядела глазами, в которых слезы:

— Лёшенька!..

— Тятка, исть хочу, — сказал Сенька, стоя по колено в отцовских сапогах.

Над городом глухо шумело, должно быть, готовилось что-то, только никто не знал в подвале — что.

ПРИМЕЧАНИЯ

Том IX

С о з в е р я м и. Написан в 1910 г. после поездки на Кавказ и впервые напечатан в «Русском богатстве». В изд. «Кн-ва писателей» в Москве включен в V том рассказов, продолжавших четырехтомное издание т-ва «Знание» и «Общественной пользы». В 1916 г. перепечатан в том же томе в десяти томном издании «Кн-ва писателей в Москве». В изд. «Коммунист» 1919 г. и ГИЗ 1926 г. также включен в V том.

Ч и б и с. Написан в 1911 г. и впервые напечатан в «Русских ведомостях». Включался во все книги вместе с рассказом «Со зверями». Был включен также в книгу рассказов, изданную ГИЗ в 1923 г.

Н о ч н о й д о ж д ь. Написан в 1912 г. Включался во все книги вместе с рассказом «Со зверями».

П а р о в о з № 314-Б. Написан в 1910 г. Впервые напечатан в лит-худ. сборнике под редакцией Телешева. Включался во все книги вместе с рассказом «Со зверями».

Л ю б о в ь. Под этим названием у А. С. два рассказа. В настоящем издании другой рассказ под этим названием напечатан в VI томе собр. сочинений. Этот рассказ написан в 1912 г. Включался в V том собрания сочинений во все издания, поименованные в примечании к рассказу «Со зверями».

Х о л о д н а я р а в н и н а. Написан в 1912 г. Впервые напечатан в «Русских ведомостях». Включался в V том со-

брания сочинений во все издания, поименованные в примечании к рассказу «Со зверями».

К л у б о к . Повесть написана в 1914/15 гг. Напечатана в «Соврем. мире». Включена в изд. «Кн-ва писателей в Москве» в IX том собр. сочинений. Первое издание вышло в 1916 г., второе в 1918 г. В издании ГИЗ 1926 г. включена в V том собр. сочинений.

С т р а н н а я н о ч ь . Написана в 1913 г. и напечатана в «Современном мире». В собр. сочинений впервые включена в издании ГИЗ 1926 г.

М ы ш и н о е ц а р с т в о . Другое название рассказа— «В мышинном царстве» Написан в 1912 г. Впервые напечатан в «Русском богатстве». Включен в V том собрания сочинений «Кн-ва писателей в Москве» в 1913 г. Перепечатан в том же издании в 1916 г. В издании «Коммунист» — в V томе собрания сочинений 1919 г. Включен в книгу рассказов А. С., изд. ГИЗ 1923 г. Вошел в V том собрания сочинений, изданного ГИЗ в 1926 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Со зверями	5
Чибис	34
Ночной дождь	53
Паровоз № 314-Б	66
Любовь	85
Холодная равнина	111
Клубок	123
Странная ночь	172
Мышиное царство	199

Г О С И З Д А Т

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПАРТИЗАНСКИЕ ПОВЕСТИ

Стр. 332.

Ц. 2.руб. 75 к., в пер. 3 руб.

*

ТОМ ВТОРОЙ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 315.

Ц. 2 руб. 50 к., в пер. 2 р. 75 к.

*

ТОМ ТРЕТИЙ

СЧАСТЬЕ ЕПИСКОПА ВАЛЕНТИНА

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 283.

Ц. 2 руб. 25 к.

*

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

БЕГСТВУЮЩИЙ ОСТРОВ

И ДРУГИЕ ПОВЕСТИ

Стр. 234.

Ц. 2 руб.

ТОМ ПЯТЫЙ

ГИБЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ



